

Соболев Анатолий Пантелеевич

Тихий пост

Повесть

В условленный час пятый пост не вышел на радиосвязь. Штаб вызывал каждый день - ответа не было.

Прошла неделя, пост молчал.

И вдруг с метеостанции, находящейся в ста с лишним километрах восточнее "пятого", в Архангельск поступила радиограмма: "В тундре подобрали нашего матроса и немца. Оба без сознания. Стараемся вернуть к жизни. Ждите сообщения".

* * *

Этот пост был одним из постов Службы наблюдения и связи, раскинутых по побережью Баренцева моря.

Бревенчатый домик с надстройкой в виде капитанского мостика с антеннами и прожектором напоминал выброшенный на берег корабль. С трех сторон к нему подступало море, с четвертой - безмолвная тундра на тысячи километров.

На посту несли службу шестеро матросов. Война не докатывалась сюда фронт был очень и очень далек. И матросы роптали на свою спокойную службу. Они были молоды, нетерпеливы и хотели воевать, но командование держало их здесь, на перекрестке сухоходных путей.

Начинался заснеженный и морозный сорок четвертый год. На всех фронтах наступали наши войска, и здесь, на посту, жадно ловили сообщения Совинформбюро.

Однажды радист Пенов, белобрысый застенчивый паренек, часами сидевший у рации, восторженно крикнул:

- Блокаду с Ленинграда сняли!

- Ура-а! - заорал всегда шумный Мишка Костыря и первым кинулся к карте, висевшей на стене.

Подошли и остальные матросы.

- Заняли города и населенные пункты... - начал было говорить Пенов и замолчал, одной рукой прижимая наушники к голове, другой стараясь отрегулировать слышимость рации.

- Да не тяни ты kota за хвост!

Мишка Костыря - подвижный, чернявый, коренастый крепыш - нетерпеливо глядел на радиста и держал в руке крохотные бумажные флажки.

Петя Пенов вспыхнул и захлопал белыми ресницами. Смирный паренек с телячьими доверчивыми глазами, он почему-то всегда смущался, когда к нему обращались. Наконец он отрегулировал слышимость и стал перечислять освобожденные села и города, а Костыря втыкать красные флажки на карту.

- Ого, густо! - полюбовался Костыря на скопление флажков вокруг Ленинграда и ослепил матросов белозубой улыбкой. - Теперь дело за Одессой. Ждем, кореша, по всем фронтам!

- Ждем, да не мы, - резонно заметил Виктор Курбатов, высокий красивый юноша с тонким, от природы смуглым лицом.

Костыря досадливо поморщился - он не любил, когда ему напоминали, что он не на фронте. А Пенов уже перечислял отличившиеся войска, отмеченные в приказе Верховного Главнокомандующего.

- Сегодня салют грохнут в Москве, - заверил Костыря. - Старшой вернется, надо с него потребовать по чарке в честь победы.

* * *

В это самое время старшина первой статьи Чупахин шел на лыжах по ровной заснеженной тундре, освещенной луной, и глядел на широкую полосу ледового припая, что тянулась вдоль обрывистого берега. За торосами чернело тяжелое море.

Чупахин не переставал удивляться: по часам был день, а все кругом как ночью. И хотя Чупахин служил на Севере не первую полярную ночь, он все равно не мог привыкнуть к тому, что в часы, когда по всем законам должно светить солнце, светят луна и звезды.

Красивы эти лунные дни! Сверкает холодным синим светом заснеженная тундра, вспыхивают зеленые звезды на черном бездонном небе, и великое древнее молчание вселенной окружает тебя. Звук в этом безмолвии слышен далеко-далеко. Вот кто-то кашлянул у поста, от которого Чупахин отошел, пожалуй, с километр, но слышно так четко и ясно, будто человек стоит рядом. Чупахин даже хотел угадать, кто именно из ребят кашляет, но кашель не повторился.

В море засветились огни корабля. В этих местах, вдали от фронта, они ходили со всеми отличительными огнями и ходили круглый год, потому что здесь было теплое течение Гольфстрим и море не замерзало. "Сейчас пост запросит позывные", - подумал Чупахин. И действительно, "заговорил" постовой семафор. С корабля ответно замигали. В этом и заключалось главное назначение поста СНИСа - засекать каждый проходящий мимо корабль, будь он военным, пассажирским или транспортным, и докладывать в штаб. Служба своею размеренной однотонностью обрыдла Чупахину и его пятерым подчиненным.

Лыжи скользили легко, и Чупахин, ощущая бодрость и силу в сухом жилистом теле, торопился до ужина проверить ловушки и силки. Он уже вытащил застывшего песка из капкана, песок был великолепен. Когда Чупахин поднял его и потрянул, по голубовато-белой шкурке дымчато замерцали блески. Скоро на пост прибудетверяющий офицер. С ним ненцы - местные жители, - они и привезут офицера на оленьей упряжке. Чупахин сдаст шкурки в фонд обороны. Второй год служит он на этом тихом посту и второй год сдает шкурки лисиц и песцов, которых ловит между делом. И службу флотскую несет, и государству помогает. Конечно, он хотел бы помогать не так, он хотел бы защищать Родину на фронте, но приказано служить здесь, и он служит.

Так думал Чупахин, вытаскивая второго песка из ловушки.

Он не заметил, как по сугробам бесшумно потекли короткие снежные ручьи - первый признак надвигающейся метели. И только когда сбоку ударил ветер, когда воздух мгновенно наполнился снежною пылью, когда с моря, где с хрустом и выстрелами лопался ледовый припай, докатился глухой рокот, у Чупахина екнуло сердце. Он выхватил из ловушки песка и кинулся к посту.

Но было уже поздно.

Рвала и гуляла по тундре пурга. Ревела, забивая ветром и снегом рот, слепила глаза, гнала сплошную стену ледяной крошки. Ветер хлестал наотмашь по лицу, сбивал с ног.

Нагнув голову, задыхаясь, пряча лицо в воротник полушубка, Чупахин медленно двигался в белой замяти по направлению к посту. Лыжи то разъезжались по твердому насту, то с ходу втыкались в сугроб. Ветер вдруг переменял направление, ударило в спину, и старшину стремительно понесло по склону, подбрасывая на кочках. Чупахин балансировал, стараясь устоять на лыжах. "Не сорваться бы с берега! - обожгла мысль. - Костей не собрать". Его закружило, он упал, вскочил и потерял направление: где пост, где берег, где тундра. "Вот влип!" - заглодело под сердцем. Его опять сбilo с ног и покатило по склону, два раза перевернуло через голову. Потерял лыжу. Схватив другую и опираясь на нее, пополз сам не зная куда.

Вокруг гудело, снег тучами поднялся в воздух, и не было видно ни зги.

Чупахин остановился. Нет, вслепую нельзя двигаться, можно сорваться с берега на торосы или, наоборот, уползти черт-те куда в тундру! Надо зарыться в снег и переждать. Чупахин, повернувшись спиной к ветру, стал лихорадочно копать лыжей нору в твердом сугробе. Жгучий снег забивался в рукава, за воротник полушубка, ветер толкал то в спину, то в грудь. Старшина выгреб небольшую ямку и прилег. Его сразу же стало заносить. "Не найдут!" - кольнула испуганная мысль. В том, что пойдут искать, старшина не сомневался. Уже занесенный снегом, уже плохо слыша рев метели над головой, он пробил лыжей сугроб

и высунул ее стоймя наружу. Ориентир! Теперь пусть заносит, лыжа будет видна над сугробом.

Под защитой снеговой крыши стало тепло. Начало клонить ко сну. Не уснуть бы! Уснешь - пропал! Чухахин продырявил отверстие над головой. Высунулся. Ударило снежной пылью, забило дыхание. Ветер сорвал шапку, и она мгновенно исчезла в ревущей коловерти. Вот черт! Этого еще не хватало. Волосы сразу забило снегом, и голова застыла. Вроде выстрел щелкнул. Прислушался. Нет, показалось. Да разве что услышишь в этой свистопляске! Дело швах! Главное - он не знает, где сейчас находится: может быть, совсем близко от поста, а может, упорол в другую сторону. Попробуй найди его! Да и ребята сами могут заблудиться. Черт побери, здорово он оплошал! Размечтался о шкурках, дурак! О поросенке бы еще помечтать. Недаром ребята смеются над ним: он однажды высказал мысль, что неплохо бы завести на посту поросенка, можно отходами со стола выкормить. Свиновод! Прохлопал первые признаки надвигающейся бури: исчезновение звезд, затишье перед ударом ветра, рождение снежных ручейков. Не почувствовал и первых слабых порывов ветра, будто малый ребенок робко дергает за рукав. Опомился, когда ударило по сопатке наотмашь. Пролюбовался на песка. Теперь сиди, знаменитый охотник!

Чухахин вдруг вспомнил, как замерз колхозный конюх. Шел с фермы в буран, заплутался и уже перед домом выбился из сил и присел у сугроба, не видя, что рядом забор. От этого воспоминания у Чухахина тоскливо заныло сердце.

- Искать надо, - сказал Виктор Курбатов, прислушиваясь, как злобно и мстительно ревет буря за стенами.

- Пошли покричим, - предложил Костыря.

Вышли и сразу задохнулись от ветра и снежной пыли.

- Старшина! - кричал Виктор, сложив рупором ладони. - Старшина!

- Чухахин! - вторил Костыря. - Старшой! Васька!

- Старшина!!!

Крики гасли в реве и свисте пурги, слова ветром загоняло обратно в глотку. Жохов из автомата выпустил очередь вверх, но ветер тут же заглушил выстрелы, матросы вернулись на пост, залепленные снегом.

- Дело плохо, - сказал Иван Жохов и обвел всех внимательным взглядом маленьких черных глаз. Кряжистый, с мощной шеей борца, по-медвежьки сутулый, он был на редкость молчалив, а если и говорил, то нехотя, будто забытый долг отдавал. "Великий немой" - звали его матросы. Отличался он и невозмутимым спокойствием. Но сейчас тревога за старшину проступала на его широком и всегда добродушном лице.

- Что же делать, ребята? - спросил Петя Пенев, растерянно хлопая белыми ресницами, и, чтобы услышать какой-то утешительный ответ, снял с одного уха наушник. Он неотрывно сидел у радики: на море тоже бушевало, того и гляди раздастся SOS.

- Искать надо, - ответил Генка Лыткин, прозванный за долговязую нескладную фигуру Фитилем.

- Глядите, что творится, - кивнул Костыря на окно, за которым злобно бился буран.

- Искать, - стоял на своем Курбатов, и лицо его побледнело от решимости.

- С тобой никто не спорит, - сказал Жохов. - Дело в другом. Как искать? Давайте обмозгуем.

- Надо сообщить в штаб, - предложил вконец расстроенный Пенев.

- Сдурел? - Костыря выразительно повертел пальцем у своего виска. Панику поднимать.

- Штаб тут не поможет, - сказал Курбатов. - Сами найдем.

- Вот притихнет малость - и найдем, - уверенно заявил Костыря.

- Неделю будет реветь - неделю ждать будешь? - спросил Пенев. - Он замерзнет.

- Не каркай раньше времени, - огрызнулся Костыря. - Он сибиряк, он знает, что делать. Ему эта буря - раз плюнуть, не то что мне, одесситу. Я человек южный, мороз мне не в жилу.

- В сугроб надо залезать, - сказал Курбатов. - У меня дед так спасся. В степи буран его застал. Три дня в сугробе просидел. Живой остался. Даже не обморозился.

- Раз на раз не сходится, - подал голос Жохов.

- Время же идет! - чуть не стонал Пенов. - Чего вы?

- Давай еще постреляем и покричим, - предложил Жохов и вышел из помещения.

Матросы еще кричали и стреляли.

Ветер сбивал с ног, не давал шагу шагнуть. А главное, не знали они, куда идти, в какой стороне искать Чупахина. Ловушки у него стояли везде. У которой из них застала его пурга?

Когда вернулись в дом, Жохов решительно сказал товарищам:

- Все. Больше ждать нельзя. Слушай мою команду. - Он внимательно оглядел всех. - Со мной идут Курбатов и Костыря.

- Как так? - спросил Генка Лыткин. - А я?

- Со мной пойдут сильные, а ты слабый, - отрезал Жохов и свел широкие густые брови.

- Какой я слабый?! - возмутился Лыткин. - Тоже мне - определил!

- Ты что, хочешь пост оголеть? - спросил Костыря, чувствуя свое превосходство над Лыткиным. - А если с нами что стряется, тогда пост как?

Лыткин нехотя отступил перед доводами Костыри и буркнул:

- Возьмите конец. Привяжите к дому и идите по нему.

- Идея! - одобрил Костыря и хлопнул Генку по плечу. - Не голова, а сельсовет.

Лыткин недовольно дернул плечом, он совсем не разделял настроения Костыри.

- Костыря, бери конец, - приказал Жохов.

Вышли из дому, привязали тонкий пеньковый канат к стойке у крыльца и, распутывая бухту и держась друг за друга, двинулись в белую темень. Ветер сбивал с ног. Ребята падали, поднимались и упорно двигались в ревушую белесую мглу. Кричали. У поста стрелял Генка Лыткин.

Вдруг под ноги Курбатову, который шел вторым за Жоховым, подкатило сбоку что-то круглое и черное. Виктор испугался. Кто знает, что тут может носиться по тундре! Но тотчас рассмотрел - шапка, чупахинская.

- Смотрите! - крикнул он и захлебнулся ветром. - Шапка!

Он схватил ее и показал. Неужели!..

- Пошли на ветер! - закричал Жохов, поворачиваясь спиной к ветру. Ее оттуда ветром пригнало. Он там!

- Конец кончился! - крикнул, пересиливая пургу, Костыря и подергал за канат.

- Стой тут! - приказал Жохов. - С места не сходи, а мы еще походим вблизи. Пошли! - махнул он Курбатову.

- Пошли! - кивнул Виктор и схватил Жохова за рукав полушубка.

Костыря, оставшийся на месте, сгинул в пурге.

Держась друг за друга, Жохов и Курбатов шли в снежной коловерти. Кричали. Прислушивались. В ответ - свирепый вой ветра. Выбились из сил. И уже хотели поворачивать назад, как Жохов налетел на что-то. Нагнулся.

Из сугроба торчал конец лыжи.

- Лыжа! - заорал он. - Здесь он!

Подергали за лыжу. С того конца, из-под сугроба, тоже дернули.

- Здесь он, живой! - радостно закричал Курбатов и стал яростно разгребать снег.

Они быстро разрыли сугроб. Из логова вылез Чупахин, Виктор облапил его и затряс.

- Живой, Вася, живой! Как тебя угораздило! Еле нашли.

Жохов кричал:

- Тут же совсем рядом! Метров сто до поста!

Чупахин молчал. Жалкая улыбка кривила ему губы, и он отворачивался, боясь, что подчиненные увидят его слабость.

- А где добыча? - спросил Виктор.

Чупахин безнадежно махнул рукой. Песцов он потерял, когда его несло по склону и крутило через голову.

- Пошли, пошли! - торопил Жохов.

Двинулись побыстрее к посту. Прошли мимо Костыри, не заметили. И только когда налетели на канат, подергали ему. Собирая канат кольцами на руку, из белой мглы появился Костыря. Увидел Чупахина, полез обниматься.

- Давай, давай! - торопил Жохов. - Пошли!

По канату вернулись в пост.

* * *

И снова жизнь на посту вошла в свою колею, снова потянулись длинные и скучные сутки, наполненные однообразными вахтами на смотровой площадке, дежурством по камбузу, изучением уставов, стрельбой по целям и строевой подготовкой.

Чупахин был беспощаден и весь день до отказа забивал всяческой работой, как на большом образцовом корабле.

Наутро после того дня, когда он чуть не погиб, Чупахин, проверяя вахтенный журнал, обнаружил - нет записи о том, что произошло накануне.

- Почему не записано? - спросил он Костырю, который вел этот журнал.

- А зачем? - удивился Костыря. - Нашли же тебя.

- В вахтенном журнале должно быть записано все, что произошло на посту.

- Тебе влетит от начальства, - предупредил Костыря.

- Порядок есть порядок, вахтенный журнал есть вахтенный журнал. Понятно? А пока за нарушение службы один наряд вне очереди. Выдраишь палубу.

Костыря с искренним изумлением спросил:

- Ты что, чокнулся?

- Два наряда вне очереди! - повысил голос Чупахин. - Один за журнал, другой за пререкания. Повторите!

- Есть два наряда! - отковырял Костыря и уже другим тоном спросил: Ну что ты за человек - все время придираешься!

- Дисциплина должна быть. Так что давай начинай драить палубу. Понял?

- Чего тут не понять. Ходячий устав ты.

- Без разговорчиков. А то еще накину. Выполняй приказ.

- Есть! - буркнул Костыря.

Когда Чупахин вышел из кубрика, Костыря сказал Жохову, чистившему оружие:

- "Палуба, палуба". Какая это палуба! Смех сказать. Пол обыкновенный. А он все как на корабле. Спасли человека на свою шею.

- Говори, да не заговаривайся, - оборвал его Жохов.

- Да я в шутку, чего ты окрысился.

- Взаправду или в шутку, а языком не трепли.

- Ладно, ладно - я же не всерьез, - сдался Костыря. - У меня всегда так. Я вот раз мужика из воды вытащил, а он на меня драться полез.

- Правильно сделал, - Жохов хмуро поглядел на Костырю.

- Да ты послушай сначала, а потом резолюцию накладывай.

- Ну.

- Вот тебе и ну. Тонет, понимаешь, мужик, пьяный, а я на спасательной станции работал, "жмуриков" из воды таскал.

- Ну.

- Чего ты заладил: ну да ну. Кобыла я тебе? Так вот, тонет мужик.

- Слышал.

- Слушай дальше. Такого не услышишь. Вытащил я его, как говорится, с риском для жизни. Заволок в лодку, к берегу пригребаю. А по берегу его жена бегаёт, волосы на себе рвет, в крике заходится. Ну успокоил ее: живой, мол. Откачали мужика. Оклемался он, встал. А жена ему и говорит: "Митя, родной мой, что они над тобой исделали?" Это мы-то! Спасли, а она "что они над тобой исделали?". "Они, - говорит, - тебя за волосы тащили". Мужик ко мне, я ближе всех стоял. Прет медведем. Спрашивает: "Ты как меня достал?" - "За волосы", -

говорю. "А кто тебя просил за волосы меня тягать?" А сам наступает на меня, как танк. "Да, - говорю, - сачка не было, чтобы тебя, как сазана, вытаскивать". А он, недолго думая, как врежет мне в нос! От удивления я аж на корму сел. А он орет: "Не имеете права советского человека за волосы тягать! Это вам не ранешнее время! У меня и так этой растительности нехватка!" И опять норовит ударить. Ну я вскочил да как шарахну его. А жена его как завопит: "Караул, убивают!" Двое суток из-за него в КПЗ отсидел, пока в милиции разбирались, кто виноват. Вот и спасай после этого людей. Их спасешь, а они тебя потом... Старшой еще вам всем по наряду сунет. Вот узнает, что два диска патронов высадили в белый свет, так сунет. И до чего он эти наряды любит! Офицеров нету, а он старается. На физзарядку гоняет. А кому она нужна?

Физзарядка была больным местом Костыри. Он любил поспать, а Чупахин поднимал всех в шесть утра и выгонял из дому, несмотря на погоду. Полчаса бегали, прыгали, выполняли комплекс гимнастических упражнений. Жохов выжимал несколько раз большой камень, лежащий у входа в пост. Этот камень никто не мог поднять, только Жохов. Правда, еще Чупахин мог оторвать от земли. А Жохов поднимал его над головой.

- Тебе в цирке выступать, - говорил Костыря. - Я перед войной борца видел в цирке, фамилия Кара-Юсуф. Вот боролся! Всех на лопатки кидал. Р-раз! - и в дамках! А гири какие подымал! Как бог. Мне бы такую силу, я бы!..

После физзарядки один только Виктор Курбатов обтирался снегом. Костыря совал палец в сугроб, держал секунду и говорил:

- Нет, эта ванна не по мне. Я привык купаться в Черном море, или на худой конец в подогретом шампанском, или в молоке, как Гитлер.

Однажды морозным тихим утром Костыря вот так же чесал язык, как вдруг застыл с открытым ртом.

По всему небу внезапно вспыхнула волнистая завеса, переливаясь изумрудным и рубиновым светом. Звезды и луна померкли.

По снегу побежали отблески сияния, и тундра, и призрачная даль - все переливалось, играло, меняло цвет, силу, яркость.

- Красота-то какая! - зачарованно выдохнул Генка Лыткин.

Ребята притихли, будто попали они в волшебную сказку, в хрустальный дворец Снежной королевы.

И вдруг исчезло все. И снова только призрачный рассеянный свет луны, снова безмолвная снежная синяя пустыня и молчащее небо.

- Вот здорово! - обрел наконец дар речи Костыря. - Как в сказке! Было - не было.

Будто бы в доказательство, что это не сказка, опять ударил посреди неба свет, словно взрыв гигантской беззвучной бомбы. Вспыхнула и засияла в зените многоярусная огромная звезда, и лучи ее протянулись в полнеба, многоцветные, яркие, холодно сверкающие. И казалось, что огонь этот гремит в бездонной выси. Захватывало дух от мощи, красоты и необычности величественного зрелища. А стрелы все летели и летели и, постепенно теряя свою яркость и силу на излете, туманно растекались по краям неба, рассасывались в темноте горизонта.

- Вот бы нарисовать, - мечтательно вздохнул Лыткин, во все глаза глядя на это чудо природы.

- Нарисуй, - предложил Чупахин. - Ты же художник.

- Красок таких нет, - задумчиво и сожалеюще ответил Генка. - Никогда не подобрать таких красок.

Долго еще стояли матросы, стояли, пока не погасло северное сияние. И тогда почувствовали, что заоченели.

- Так не заметишь и дуба дашь, - лязгнул зубами Костыря. Опомнишься, а ты уже в деревянном бушлате и свечка в руках.

Гурьбой ввалились в теплое помещение.

- Пользы нету от твоих рисунков, - сказал вдруг Чупахин Лыткину.

- Как нету? - не понял Генка и даже перестал намыливать руки.

- А так, - убежденно ответил старшина, с наслаждением фыркая под умывальником. - Сам же говоришь - северное сияние не нарисовать, красок таких нету.

- Ну точно не передашь, конечно, - согласился Генка, - а настроение передать можно.

- Ничего не получится. Можешь ты вот, к примеру, лес нарисовать? Ну стволы там нарисуешь. Это и ребяташки смогут, у меня вон братишки тоже малюют. А вот шум в вершинах сможешь нарисовать или птичье пение? А-а, вот то-то! - победно посмотрел Чупахин, хотя Генка не возражал. - А без птиц какой лес! Или вот степь. Перепелки: "Пить-попить! Пить-попить!" Днем. А вечером: "Спать пора, спать пора!" А без перепелок какая степь! Как цветы пахнут, как пчела жужжит, суслик свистит - это ты нарисуешь? Голоса их?

- Голоса, конечно, не передашь, а шум ветра передать можно.

- Это как же? Патефон сзади поставишь?

- Нет, без патефона. Вот есть такая картина художника Рылова, "Зеленый шум" называется. На ней березы под ветром нарисованы, и шум слышно.

- Ну это ты врешь, - усмехнулся Чупахин и стал с удовольствием окатывать ледяной водой из рукомойника свою бурую и жилистую шею.

- Нет, не вру.

- Значит, за картиной воздуходувка стоит.

- Нет, не стоит. Смотришь - и слышишь шум. Представить надо.

- Представить - это не то, - стоял на своем старшина. - Представить я все могу, даже что Костыря сутки слова не скажет. А вот ты нарисуй. Перепелка говорит: "Пить-попить". Или вечером сидишь у озера и слушаешь, как в камышах утка с выводком шепчется: "Шш-ш-ши, ххр-ш-и!" Это она знак подает. Сидите, мол, тихо. А они тоненько так ей: "Пи-пи-ипь, пи-пи-ипь". Сидим, мол, сидим. Или рыба играет. По воде хвостом "чмок!" - и круги! Увесисто так "чмок!". И опять тихо. Ворона каркнет - и тишина. Век бы так сидел и слушал. Вот нарисуй попробуй. Нет, не нарисовать, - убежденно заключил старшина и начал крепко растираться полотенцем. - Вот портрет какой - это верно, это можно нарисовать. У нас завклубом был до войны. Здорово рисовал. По клеткам с фотокарточки. Умрет кто - ему несут фото. Он раз-раз - и готово! Как живой покойник сидит. Ты умеешь портреты?

- Я природу больше, - ответил Генка.

- Большие деньги загребал.

- Кто? - не понял Генка.

- Ну кто. Завклубом. Несколько деревень обслуживал. А долго ли, раз-раз! - и портрет. Легкая работа, только руку набить надо. Озолотиться можно, если участковый или фининспектор не застукает. Так ты не умеешь портреты?

- Не пробовал.

- А ты попробуй. Меня вот нарисуй, - предложил Чупахин.

- Давай, - неожиданно согласился Лыткин.

- Идет, - обрадовался Чупахин. - Только я в парадное оденусь.

- Да не сейчас, потом когда-нибудь, - видя такую поспешность, сказал Генка.

- Почему потом? Вот вечером будет личное время и рисуй.

- Нет. Мне надо приглядеться к тебе, характер понять...

- Чего тебе мой характер! - удивился Чупахин. - Ты лицо рисуй - и все. Чтоб похож был.

- Нет, так нельзя.

- Почему нельзя? К фотографу вон приходишь, он не спрашивает, какой у тебя характер. Чик! - и готово!

- Там готово, а тут нет.

- Не хочешь - так и скажи. Характер ему надо, - ухмыльнулся Чупахин. - Будто ты меня не знаешь! Полгода вместе служим... Завтракать! - приказал старшина и пошел, недовольный, к столу.

В тот день по камбузу дежурил сам старшина. Кок он был отличный и в свое дежурство кормил ребят на славу. Костыря даже предлагал сделать Чупахина постоянным коком, а старшиною назначить Жохова, "великого немого". Двойная выгода была бы: во-первых, каждый день кормились бы вкусно и, во-вторых, не было бы слышно команд.

На этот раз Чупахин сварил на завтрак великолепную рисовую кашу. Костыря уплел тарелку и, попросив добавки, вдруг заявил:

- Если хочешь знать, тебя вообще рисовать нельзя.

- Это почему? - удивился Чупахин и даже перестал накладывать кашу в тарелку Костыри.

- Почему! А бородавка вон на носу. С бородавкой что за портрет!

- Без бородавки можно, - буркнул Чупахин.

Эта проклятая бородавка, прижившаяся на правой ноздре старшины, причиняла ему много неприятностей. Она все время была предметом матросских насмешек и подначек.

- А давай я ее сведу, - неожиданно предложил Костыря.

- Как? - покосился на него Чупахин.

- Раз плюнуть. Накладывай кашу-то, накладывай. Хорош, лишнего мне не надо. Ниткой суровой перетянуть - и все.

- Ври, - не поверил такому легкому избавлению старшина, но по голосу было слышно, что он колеблется.

- Забожусь, - постучал себя в грудь Костыря, поняв, что поймал старшину на удочку.

Все знали, что Чупахин тайно страдал от такого недостатка, вернее, излишества на носу, и теперь замерли, ожидая, какое еще коленце выкинет Костыря.

- Только нитка должна быть черной, а не белой, - на ходу придумывал Костыря. - С белой не получится. - И, секунду помыслив, добавил: Правда, ее нужно вокруг поста в зубах пронести. Три раза. Тогда получится.

- Я тебе пронесу! - пригрозил старшина и стал наливать бурой краской.

- Как хочешь, - нарочито равнодушно пожал плечами Костыря и полез из-за стола. - Хотел доброе дело сделать, красоту навести. Спасибо за угощение. А что будет на обед?

Чупахин не ответил. Ребята молчали, наблюдая, чем все кончится: перехитрит Костыря старшину или нет. Чупахин не знал, что делать. Он не доверял Костыре, зная, что Мишка способен на любой подвох, его хлебом не корми, только дай над кем-нибудь посмеяться. И в то же время вкралась мысль, а вдруг и в самом деле можно освободиться от этой проклятой бородавки, из-за которой обходили его девки в деревне.

- Ну давай колдуй, - наконец решился Чупахин. - Только гляди!

Он выразительно посмотрел на Костырю.

- Гляжу, гляжу, - охотно согласился Костыря и незаметно подмигнул ребятам. - Сделаю красавчика первый сорт. Люкс.

Не откладывая дела в долгий ящик - чего доброго, старшина передумает! - Костыря тут же принялся хлопотать. Выдернул из робы суровую нитку и двинулся к старшине.

- У меня у самого вот тут бородавка была, - неопределенно повел рукой возле лица Костыря. - Видишь, нету.

Неожиданно подал голос Пенков:

- Точно, товарищ старшина, моя бабка так же сводила бородавки. Перехлестнет ниткой у корешка - и отпадает.

Эти слова окончательно убедили Чупахина. Пенков не мог соврать. Он был очень уважителен к старшим, не то что эта балаболка Костыря. Пенков побоится разыграть старшину.

- Ну ладно, давай, - сказал Чупахин.

Костыря быстренько перетянул у основания большую, висящую на тонкой ножке бородавку и нарочно оставил длинные кончики нитки. Вид у старшины стал потешный. Чупахин, чувствуя это, еще строже хмурил белесые брови, еще значительно больше покашливал, но

ребята тайком перемигивались и гасили улыбки, встречая настороженный взгляд старшины. Костыря цвел от своей выдумки.

Но самое удивительное случилось через три дня. Бородавка действительно отвалилась.

- Ну что я говорил! - торжествуя стучал себя в грудь Костыря, хотя больше всех был удивлен таким неожиданным оборотом дела.

- Ладно, - снисходительно махал рукой Чупахин, стараясь сохранить равнодушный вид, но ребята видели - ликовал он! И по нескольку раз в день заглядывал в зеркальце, чтобы лишней раз убедиться, что исчезла-таки чертова бородавка.

* * *

В начале февраля почувствовали матросы приближение далекой весны. Три месяца не видели они солнца. Только звезды мерцали над сине-дымчатой снежной пустыней да лунный свет неясно озарял безмолвные сугробы. Лишь северное сияние изредка вносило радостное разнообразие в постоянно мрачный пейзаж.

И хотя тундра все еще продолжала лежать в нетронутых снегах, и у берега был крепкий припай, и мороз еще был силен, и метели еще были часты, но в тихие часы что-то неуловимое уже говорило о приближении весны, волнуя и грустно наносило с юга теплой сырью, и радостной тревогой наполнялось сердце.

Около полудня на небе притухали звезды, на восточном горизонте проступал неясный розоватый свет. Матросы с нетерпением ждали появления солнца, и все же появилось оно неожиданно. Как-то в кубрик влетел Костыря и гаркнул:

- Свистать всех наверх! Солнце показалось!

Матросы шумно кинулись на смотровую площадку и замерли. На востоке, в бледно-розовой полоске, из-за горизонта робко показалась багровая горбушка, ослепительно яркая и праздничная, а может, просто так почудилось им, давно не видавшим солнца.

- Ура-а-а! - заорал Костыря. Все подхватили его крик, и над тундрой понесся торжествующий клич во славу чуда из чудес - солнца.

А солнце на глазах победно и неотвратимо поднималось и ширилось, и все кругом преображалось. Порозовели снега под косыми и еще слабыми лучами, и странно было видеть снег розовым, а не синим, каким лежал он всю полярную ночь. Ребята зачарованно глядели на диво дивное, на чудо чудное и улыбались. Солнце, солнце! Какое счастье все же - солнце!

- Живем! - Костыря от избытка чувств так ахнул Пенова по спине, что тот задохнулся и долго кашлял.

- Теперь полегше станет, - сказал Чупахин, и все поняли, что он говорит о тех мучительных днях без света, которые миновали. Угнетало, доводило до глухой тоски постоянно темное небо. Утром, днем, вечером, ночью - постоянно черное небо.

А солнце не выросло больше, оно передвигалось по горизонту, и ребята заметили, что на светлой горбушке появилось какое-то пятно. Матросы глядели на эту движущуюся по солнцу точку и не понимали, что это такое.

- Это что - солнечное пятно? - спросил Генка Лыткин.

- Зверь, что ли, какой бежит, - раздумчиво откликнулся Чупахин.

- Песец у тебя из капкана удрал, - хмыкнул Костыря.

Было и вправду похоже, что какой-то зверек перебегает солнце. Чупахин схватил бинокль, поднес его к глазам и радостно воскликнул:

- Оленья упряжка!

- Ура-а-а! - завопил Костыря. Матросы взволнованно загалдели.

- Даже две, - уточнил Чупахин, не отнимая бинокля от глаз.

Все рвали бинокль из его рук. Каждому хотелось побыстрее своими глазами увидеть долгожданных гостей. Это могли ехать только к ним. Неделю назад Пенев принял радиogramму о приезде на пост поверяющего офицера, с которым придут письма, газеты, продукты и боеприпасы.

Уже видно было и без бинокля. Олени неслись по озаренной солнцем тундре, будто мчали за собой не нарты, а само солнце.

- Гляди, гляди, - почему-то шепотом говорил Виктору Генка Лыткин и толкал его локтем.
- Какая картина! Олени и солнце. Ух ты! Красота-то какая!

А солнце между тем уже исчезало, оно плющилося, сжималось, будто от мороза, который стал еще крепче. Светящаяся горбушка скользила за горизонт, становилась тоньше и тоньше. И снова стали набирать синеву снега, стало темнеть небо, и уже прорезались первые звезды. Но теперь с легким сердцем провожали ребята солнце, знали: с каждым днем все больше и больше будет оно задерживаться на небосводе, будет все ярче и ярче разгораться, и наконец наступит время, когда уже не уйдет с неба круглые сутки, и начнется долгий полярный день.

Олени, закинув ветвистые рога на спину, летели к посту, поднимая снежную пыль, сверкающую рубинами под последними лучами исчезающего солнца. Золотые рога, розово-золотые олени и солнце - все это было удивительно красиво.

Олени все ближе, уже виден морозный пар, вырывающийся из ноздрей, уже слышен хриплый, тяжелый дых, уже скрипят полозья нарт. Вот и подлетели они! С передних нарт соскочил низкорослый ненец в малице, с непокрытой черноволосой головой и громко крикнул тонким голосом:

- Насяльник, шибка беда!

Со вторых нарт соскочил маленький человечек в обледенелой малице и медленно сползала еще какая-то глыба льда. Одежда на них стояла колом и хрустела.

Только в кубрике матросы разобрались, что обледенелая глыба поверяющий офицер в тулупе, а маленький человек - мальчик-ненец лет десяти.

- Провалились в полыню, - еле выговорил посиневшими губами лейтенант. - Утопили ящики.

- Спирту давайте! - приказал Чупахин.

Костыря кинулся на камбуз и выскочил оттуда с кружкой спирта.

- Пейте! - сказал Чупахин лейтенанту. - И снимайте все. Натирать будем.

Офицер сорвал с усов ледяные сосульки и выпил полкружки. Его и мальчика раздели и натерли спиртом до красноты. Дали теплое белье. Лейтенанта била крупная дрожь, он не мог говорить, стучал зубами. Старик ненец сидел у порога и спокойно курил коротенькую трубочку. Офицеру и мальчику дали горячего чая. Поднесли спирту старику ненецу. Он выпил с удовольствием и, восхищенно поцокав языком, сказал:

- Шибко карашо, насяльник.

И опять сел у порога. Сузив глазки, ласково поглядывал на матросов и курил трубку.

Лейтенант, прихлебывая чай и грея ладони об алюминиевую кружку, рассказывал, как первые нарты, которыми правил старик, проскочили по наледи озера, а вторые, которыми правил сын старика, провалились под лед. Олени с ходу выдернули нарты, но все, что было на нартах, ушло под воду: ящики с боеприпасами, с сахаром, мукой, сухарями и сушеной картошкой.

- Одо-до-до-о! - вдруг запел ненец у порога, раскачиваясь из стороны в сторону и блаженно зажмурившись.

- Во дает! - восхищенно осклабился Костыря. - Сразу окосел.

- Шибко карашо, насяльник, - сказал ненец и сплюнул на пол.

- Ну дает! - Костыря растерянно глянул на изменившегося в лице Чупахина.

Для старшины плевков на палубу был равносильен личному оскорблению. Но на этот раз и у Костыри заскребли кошки на душе. Именно он накануне выдраил палубу как стеклышко. И вот на тебе!

Ненец снова запел протяжно и древне красиво. За душу брал однотонный мотив с тягучим повтором:

- Одо-до-до-о!..

- О чем он? - спросил всех Курбатов.

Этот однотонный и древний мотив напомнил ему детство на Алтае, где такие же низкорослые, раскосые и безобидные алтайцы точно так же пели свои нескончаемые, протяжные и хватющие за сердце песни.

- Переведи, - сказал лейтенант мальчику.

Мальчик, посверкивая угольными смысленными глазенками и все время доверчиво улыбаясь, пояснил, что отец его поет о тундре, которая зимой белая, летом в цветах, и что нет на земле места прекраснее, чем тундра. Но в ней надо быть осторожным, потому что таит она много опасностей. Не надо быть слепой мышью, надо иметь глаза совы и ноги оленя.

- Шибко карашо, насыльник, - прервал песню старик и стал снова набивать маленькую трубочку табаком из расшитого кожаного кисета. К удивлению матросов, мальчик тоже вытащил кисет и трубку и тоже принялся набивать ее табаком. Оба закурили, сидя рядышком у порога.

- Во дают! - изумленно тарачил глаза Костыря.

- Зачем вы ему разрешаете курить? - обратился Генка Лыткин к старику.

- Он не понимает по-русски, - сказал офицер. - Знает только: "Шибко хорошо, начальник" и "шибко беда, начальник".

- Он же мальчик, у него организм слабый, - продолжал Лыткин.

- Переведи, - сказал офицер мальчику, и мальчик перевел отцу. Старик пыхнул трубочкой и что-то ответил.

Мальчик перевел на русский.

- В тундре нельзя без курева: летом комары заедят, зимой замерзнешь.

Старик снова сузил веки и, казалось, уснул, но нет-нет да блеснет черный глаз между добродушными складками век, и по-детски ясная и открытая улыбка еще больше натянет скуластое плоское лицо. И это тоже напоминало Виктору родной Алтай, там алтайцы тоже курят с детства трубки и философски спокойно взирают на жизнь.

- Одо-до-до-о! - опять затянул старик, и мальчик без просьбы стал переводить.

Отец его пел о том, как бегут олени, бегут легкие, будто ветер. О-о, сколько оленей бежит по тундре! Бегут олени белые, как снег, бегут олени серые, как осенний мох, бегут олени пятнистые, как тундра летом. Одо-до-до-о! О тундра - лучший край земли, богатая, красивая, бескрайняя тундра! Бегут олени-вожаки, бегут нежные важенки, бегут олениа с тонкими ногами, едва касаясь земли. Это бежит мясо, бежит молоко, бегут панты, сладкие и целебные, бегут малицы теплые, расшитые женщинами, бегут чумы теплые, это бежит жизнь, ибо нет жизни в тундре без оленя. Одо-до-до-о! Бегут олени навстречу солнцу, красному солнцу-отцу с золотыми лучами-руками, которыми он обнимает землю. Бегут олени по тундре, а кругом простор и ветер. Ветер и ненец вольны, как птицы. Ветер куда хочет, туда и полетит, и ненец куда хочет, туда и направит бег своих оленей...

- Вот люди, в музей бы их, - сказал Костыря.

- Люди они хорошие, - ответил лейтенант. Он уже отогрелся и говорил теперь, не стуча зубами. - Добрая, открытая душа у них. Они, как дети, зла не знают, доверчивые и честные.

Разглаживая черные вислые усы, лейтенант с тихой улыбкой глядел на ненцев. На виске у него был синий шрам, и каждый из матросов подумал, что вот офицер уже побывал на фронте, а они сидят тут как у Христа за пазухой.

Офицер пробыл на посту сутки. Он проверил несение службы, политическую подготовку, флажки на карте одобрил, провел строевые и физические занятия. Матросы бегали, "рубил" строевым шагом, окапывались. Ненцы - отец и сын - сидели на нартах, курили, наблюдали. На огневой подготовке старик ненец после каждого выстрела бегал смотреть мишень и приходил расстроенный: переживал за матросов, которые оказались не очень меткими стрелками. Старик повесил на рог оленя пустую консервную банку, ударил его длинной тонкой палкой, которой управляют оленями во время езды, и олень побежал. Старик подождал, пока он отбежит подальше, вскинул свою старую берданку и выстрелил. Банка слетела с рога. Старик разулыбался, а матросы покраснели. У Чупахина ходили желваки на скулах, он мучительно переживал позор.

Старик прирезал молоденькую важенку матросам на мясо. Подставил кружку к ее горлу, набрал свежей крови и выпил, потом предложил морякам. Все отказались. Мальчик перевел слова отца:

- Кровь пить в тундре надо, цинги не будет.

Но ребята не могли пересилить отвращение. Чупахин сказал:

- У нас в деревне кузнец был, тоже кровь пил. Прирежет телушку и пьет. Здоровый был, красный ходил, а помер сразу.

Офицер проверил вахтенный журнал и здорово отчитал Чупахина за то, что тот ушел проверять ловушки один. Строго-настрога наказал в тундру поодиночке не ходить. Напоследок офицер сказал, чтобы берегли патроны.

- НЗ не трогайте. Постараемся забросить вам патронов, но скоро тундра тронется и, сами понимаете, дороги не будет. Так что, возможно, до лета придется обходиться тем, что осталось у вас. Ну да у вас тут не фронт. Поменьше по воронам стреляйте.

- Их здесь нет, - сказал Чупахин.

- Я к слову.

- Ясно.

И снова резко обозначились олени рога на солнечном полукруге, снова нарты понеслись к горизонту. Моряки махали им вслед. А олени становились все меньше и меньше, пока не пробежали по самому краешку огненного светила и скрылись за горизонтом вместе с ним.

И снова остались матросы одни, связанные с внешним миром только тоненьким и ненадежным нервом радиоволны. И опять началась тихая жизнь и скучная служба, но все же было веселее: солнце взошло и будет теперь с каждым днем все дольше задерживаться на небосводе и еще потому, что все послали с офицером рапорты командованию с просьбой отправить их на фронт. Офицер хотя и покачал головой, но рапорты взял.

Глядишь, и вправду сменят их летом, может, и повезет еще - попадут на фронт. Была и еще радость - все получили письма из дому. По несколько штук. И свои отправили с офицером. Виктор в который раз перечитывал письмо от Веры, одноклассницы. Она писала, что в десятом классе остались одни девочки. Ребята все на фронте. Четверо уже погибли: двое под Ленинградом, один в Крыму, а последний, Лешка Макаров, совсем недавно на Брянщине. Еще она писала, что Ира ушла работать санитаркой в госпиталь и теперь учится в вечерней школе и собирается после десятилетки пойти в медицинский институт, а сама Вера пойдет в педагогический.

Виктор вспомнил, как ходили они вчетвером: Вера, Ира, Генка и он - в степь. Они тогда сдали экзамены за седьмой класс и утречком, ясным погожим воскресеньем отправились в степь за цветами. Генка тогда декламировал "Русь" Никитина:

Под большим шатром голубых небес...

Шли они высоким и обрывистым берегом быстрой и холодной Би, видели синие Алтайские горы на горизонте и залитую солнцем зеленую степь, степь без конца и края.

Было очень весело, они смеялись до слез: то Генка потерял рубашку, которую снял, чтобы загорать на ходу, то Вера не перепрыгнула ручей и шлепнулась прямо в воду, то сам Виктор ожегся о крапиву.

Генка и Виктор немножко фасонили перед девчонками, а те переглядывались, хихикали. Они нарвали тогда жарков и накопили саранок. В город вернулись, когда уже стемнело. Расстались с девчонками на окраине, чтобы - не дай бог! - не натолкнуться на кого-нибудь из класса.

Виктор зашел к Генке за книгой. Когда вошли в дом, увидели Генкиного отца, сидящего со строгим белым лицом перед чистым листом бумаги, и заплаканную Генкину мать. "Явились", - сказал Евгений Павлович. Они ушли не спросясь и побаивались, что им попадет. "Явились", - тихо ответил Генка, а Виктор на всякий случай промолчал. У него к Евгению Павловичу было двойственное отношение. Он боялся его как директора школы, в которой они учились, и любил его как Генкиного отца. Евгений Павлович вздохнул и сурово сказал: "Война началась". - "Какая война?" - спросил Генка. Виктор тоже не сразу понял, о чем говорит директор. "Тяжелая и жестокая, ответил Евгений Павлович. - Германия напала на

нас". Он снял очки с толстыми стеклами и, подслеповато щурясь, потер переносицу. "Сегодня утром, в четыре часа. Бомбили Минск, Киев..."

Друзья стояли ошеломленные. Значит, целый день, пока они собирали цветы и веселились, уже сражались пограничники, уже были воздушные бои уже шла война! А они и не подозревали!..

"Ничего! - заявил Генка. - Мы им быстро накостыляем!" Евгений Павлович надел очки и внимательно, будто впервые видел, посмотрел на Генку и сказал: "Не надо строить иллюзий, шапками нам их не закидать. Враг очень сильный". Евгений Павлович был историк и знал, что войны за неделю не кончаются. "С завтрашнего дня на работу, - объявил он. - Сбор в школе". Он снова потер переносицу и застенчиво сказал: "А я вот заявление пишу в военкомат". - "Не возьмут тебя, - впервые за все время подала голос Генкина мать. - Зрение у тебя..." - "Посмотрим", - недовольно ответил Евгений Павлович.

Со второго дня войны друзья начали работать. Они разгружали вагоны с углем в гортопе и грузили вагоны ящиками и бочками на торговой базе, косили и скирдовали сено и убирали урожай в пригородном колхозе.

Так прошло два года. Зимой учились, летом работали. И вот сейчас Вера пишет, что ходят они после занятий расчищать улицы от сугробов и помогают в госпитале. Еще пишет, что Евгения Павловича так и не призывают из-за слабого зрения и что теперь он заведующий горно, а директором вместо него математичка Софья Захаровна, которая ставила Виктору двойки.

Было приятно в десятый раз перечитывать письмо и вдруг обнаруживать в нем что-то новое, до этого пропущенное, и объявлять об этом Генке. А Генка, в свою очередь, тоже перечитывал письма от Иры и, улыбаясь, рассказывал, о чем она писала.

* * *

Ясным мартовским полднем Чупахин и Жохов шли на лыжах берегом, осматривая свой сектор наблюдения. Такие осмотры были каждый день на восток и на запад от поста. Лыжи шуршали по насту, было легко и весело на душе от такого солнечного и по-весеннему радостного дня.

- Гляди, - зашептал вдруг Жохов, показывая палкой на один из торосов в ледовом припае.

Чупахин увидел большую темно-серую нерпу и ее маленького детеныша, беленького и пухленького. Они лежали возле полыньи. Мать кормила детеныша. Он жадно припал к вымени и нежно похрюкивал, очень похоже на поросенка. Но потом Чупахин понял, что похрюкивает как раз мать, а не детеныш. Беленький, пушистый и очень милый детеныш слабо всхлипывал и захлебывался молоком. Казалось, он обиделся на мать, что она была где-то в море и забыла про него, и он так долго был один. Мать же, оправдываясь, успокаивала детеныша.

Парни замерли и с улыбкой наблюдали за этой сценой. Жохов сделал неосторожное движение, снег хрустнул, и нерпа, тревожно глянув на людей большими черными глазами, мгновенно исчезла в полынье. Детеныш тоже очень проворно скрылся в снежной норе. Все произошло так быстро, что матросы переглянулись, пораженные проворством зверей, казалось бы очень неуклюжих.

Чупахин и Жохов подошли к норе. Она была сделана в сугробе рядом с полыньей, где исчезла нерпа-мать. Заглянули в нору. Зверек лежал, закрыв глаза со страху. Забавная мордочка выражала покорность и мольбу о помиловании.

- Давай посмотрим, - предложил Чупахин.

- Давай, - согласился Жохов и запустил руку в нору. Вытянул довольно тяжелого зверька. Зверек извивался, жалобно пищал, очень похоже на "ма-ма, ма-ма!".

В полынье с шумом вынырнула нерпа, огромные глаза ее уставились на людей с тревожным ожиданием. Она издала хриплый звук, и по атласной, блестящей шкуре горла прошла волна. И столько было мольбы в ее огромных мерцающих глазах, в ее тревожном звуке, что у парней дрогнули сердца.

- Ну ладно, ладно, - оправдываясь, сказал Жохов и торопливо начал засовывать детеныша обратно в нору. - Уж и посмотреть нельзя.

- Ничего не сделали, - успокаивал нерпу и Чупахин. - Поглядели, и все.

Нерпа то исчезала под водой, то с шумом выныривала, и огромные черные, с фиолетовым отливом глаза ее с печалью и страхом смотрели на людей.

Матросы отошли от норы и спрятались за торосом. Увидели, как нерпа вылезла на лед и кинулась к норе. Детеныш показался из своего убежища и, жалобно всхлипывая, стал жаловаться матери, что вот бросила она его одного, а тут приходили какие-то страшные звери на двух ногах. Мать быстро обнюхала детеныша, осмотрела и, найдя все в порядке, успокоилась, стала кормить его молоком, ласково и утешающе похрюкивая.

Ребята потихоньку покинули свое место за торосом и двинулись к посту.

Чупахин шел и тихо улыбался. Просветленное лицо его стало даже красивым. Он вспомнил, как работал конюхом в колхозе, вспомнил родимую деревню, привольно раскинутую на крутом берегу Иртыша. И так потянуло его домой, к реке, к поскотине, где взбрыкивают по весне глупые и добрые телята, откуда виден синий простор прииртышских степей. Если пойти из деревни по течению реки, то в километре будет колхозная ферма. Стоит она в березняке, и с дороги за деревьями не сразу ее увидишь. Там работала доярка Глаша, румяная, крепкая девка с длинной рыжей косой и зелеными глазами. Туда приходил конюх Васька Чупахин. И когда видел Глашу, язык у него отнимался. Он угонял табун в поле, лежал в ромашках, и сердце сосала тоска, и хотелось плакать. А вечером, когда собирались девки и парни на обрывистом берегу Иртыша, некрасивый паренек Васька Чупахин с бородавкой на носу отчаянно наявничал на балалайке. Девки топтались на выбитом до пыли пятачке и пели частушки, парни же смолили махорку и отпускали в адрес девок соленые шуточки. А потом к третьим петухам, когда светлел восток, расходились парами. Уходила и Глаша с трактористом Семкой Ожоговым, красивым чернявым парнем, года на два старше Чупахина. И оставался Васька один со своей балалайкой. Тонко и грустно тенькали струны, неведомо кому рассказывая, что творилось на душе молоденького конюха.

И теперь шел по тундре на лыжах и с грустью улыбался старшина Чупахин тому далекому и смешному пареньку Ваське Чупахину. Давно это было! Нет, недавно, всего три года назад. А кажется, век прошел. Давно, в самом начале войны, пришла похоронка на Семку Ожогова, давно уже родила Глаша дочку, поди, уж и бегаёт теперь девочка. Давно и самого Чупахина забрали служить, и вот уже три года, как он здесь, в Заполярье. Давно было это, а сердце ноет, не забывает теплых июльских вечеров на берегу Иртыша, хмельного запаха сенокосной поры. Деревня теперь, поди, совсем пустая. Всех парней позабирали на войну. Мать пишет: похоронки, почитай, в каждую избу пришли. Тихо стало, ни гармошки, ни балалайки не слышать над рекой. Глянуть бы глазком на родимую деревню, пройтись бы по улице, поросшей травкой-муравкой, выйти на крутояр Иртыша, поглядеть в зареченские синие дали да послушать бы девичьи частушки...

Весь день ходил Чупахин в тихой грусти, был непривычно мягок и задумчив.

- Ты чего, старшой, чумной какой-то? - поинтересовался Костыря.

Старшина с раздумчивостью вздохнул:

- Понимаешь, петухи снятся, слышу во сне. У нас в деревне петухи рано-рано кричат. И туман. Хозяйки коров выгоняют...

Чупахин с грустью поглядел в снежную даль и тут же взял себя в руки.

- Тут тоже хорошо. Вот скоро весна придет, приволье будет. Служить можно.

Но Костырю не так-то просто было провести, он понял, что творится в душе старшины, потеплел к нему сердцем и сочувственно сказал:

- Выше своего пупа не прыгнешь, старшой.

Костыря окинул взглядом вокруг поста (они в это время рубили с Чупахиным дрова) и сознался:

- Я все это так люблю - глаза бы не глядели.

Чупахину тоже было трудно служить, но он держал себя в кулаке. В первую очередь жестко относился к себе. Только тогда имел он право требовать с других.

Но после того как увидел нерпу и ее детеныша, Чупахин с тоской вспоминал деревню, телят, жеребят, своих пятерых лобастых и упрямых братишек и почему-то именно сейчас решил, что как вернется после войны домой, так пойдет и посватает Глашу. И уже о ее

маленькой дочке думал как о своей, с замиранием сердца и любовью. Представлял, как отстроит новый дом на самом берегу Иртыша, чтобы окна выходили на зареченскую даль, чтобы солнце било в окна, представлял, как будет бегать маленькая девочка по теплым половицам, выдраенным с дресвой до желтизны. Он давно уже простил Глаше, что отвергла она его, вышла за Семку Ожогина. Война всех примирила. Правда, нет-нет да и начинало ныть сердце: а вдруг опять не по нраву придется он Глаше. Но Чупахин тут же гнал от себя эту мысль, теперь ведь он не тот конюх-мальчишка, а военно-морской старшина. И заживут они на славу. И мать передохнет от своей непосильной жизни. Век маялась с шестерыми. Отец Чупахина - сколько помнил его старшина - все хворал и лежал на печи да на полатах. Головой в доме была мать. А работу Чупахин себе подыщет. Хоть в конюхи опять. Скорее всего сделают его бригадиром, все же как-никак, а старшина он флотский. А уж если говорить честно, то хотел бы он заведовать колхозной конюшней. Очень любит он лошадей. И в конюшню входил всегда с замиранием сердца. Сладко было вдыхать запах сена и конского пота, любил убирать за лошадьми, чистить их, выводить на водопой. Председатель в пример его ставил, премии выдавал. Пуще себя берег Чупахин лошадей. Ночью, бывало, приходил проверять, корму подбросить. И лошади его любили.

Когда брали служить, думал попасть в кавалерию. Не получилось. Пришлось морское дело изучать в боцманской команде.

Вечером того же дня, едва Чупахин подал команду приготовиться ко сну, Костыря, сидя на своей постели и стягивая валенки, начал очередную травлю:

- Эх, братцы, скажу я вам за Одессу! Нет шикарнее города на свете. Что там Сибирь ваша! Такой же снег, как тут, да мороз. Волки еще. А Одесса!..

- Много ты знаешь о Сибири, - усмехнулся Генка Лыткин, сидя на корточках перед печкой и подкидывая в нее полешки. - У нас на Алтае леса, степи, арбузы, дыни...

- Арбузы, дыни, - передразнил Костыря, развешивая портянки возле печки. - Подвинься. А море ты видел?

- Вон море, - Генка кивнул на стену. - Сколько хочешь.

- Черное! - трагическим голосом воскликнул Костыря. - Черное море, понимаешь!

И, стоя в одних кальсонах на нарах и лихо подкручивая тонкие усики, продолжал:

- Вечером выйдешь на... эту... как ее?.. Дерibasовскую. Акация цветет, мореманы клешами бульвар подметают. А девочки! Шик! Подлетишь на полных парусах, ошвартуешься борт о борт. "Ах, мамзель, ваши божественные глазки зажгли в моей груди римский пожар, когда императором сидел ханыга Нерон. Я гибну, как одинокая шхуна в бушующем море, и только ваше нежное сердечко может услышать мой сигнал SOS. Спасите мою душу, мамзель, дайте вашу белую ручку, и я проведу вас по главной улице Одессы, по... этой... как она?.. Дерibasовской".

- У тебя рот затворяется когда-нибудь? - недовольно покосился Чупахин на Костырю, аккуратно складывая форму на ночь.

- Когда сплю, мой фюрер! - дурашливо выкатив глаза, Костыря стукнул босыми пятками.

- И то норовишь захрапеть. И брось ты с этим "фюрером"! - побагровел Чупахин. - А насчет Сибири я тебе так скажу: без Сибири не было бы и твоей Одессы.

Костыря выразительно свистнул:

- Во хватил!

- Не хватил, а так и есть. Сейчас вся страна на Сибири держится. У нас там и хлеб растет...

- И уголь и металл... - подхватил Виктор Курбатов, кровно оскорбленный пренебрежительным отношением к Сибири. - Промышленность!

- Ты вот Одессу все хвалишь, не спорю, говорят, хороший город. А побывал бы ты на нашем Иртыше да поглядел бы с высокого берега. Вот раздолье где! И пароходы тоже ходят, и плоты гоняют, и баржи... помягчел голосом Чупахин.

- Еще чего! - пренебрежительно махнул рукой Костыря. - Что я, речек не видел! Я сам на такой жил. С одного разу переплунуть можно.

Сказал это Костыря и прикусил испуганно язык. Осторожно покосился на ребят. Нет, кажется, никто не обратил внимания на его последние слова, и он, тут же воспрянув духом, продолжал:

- У нас в Одессе придешь в порт, мореманы на всех языках разговаривают. Даже самые необразованные и то по-английски или по-испански шпарят.

- А ты можешь? - спросил Пенев, с восхищением слушая трепотню Костыри.

- Я про иностранцев говорю, - не удостоил его даже взглядом Костыря. - А как начнут драться, вся Одесса качается. Вот так ремень наматывается. - Костыря намотал свой ремень на кулак. - Бляха на конце остается. Как врежешь, так лоб пополам.

- У нас Семка Ожогин был, - вмешался Чупахин. - Кулак - во! Как поднесет, так ремни на мужиках лопались. Одному комбайнеру ударил, у того штаны спали. А кругом девки. Была потеха.

- Теперь, поди, от Одессы одни развалины дымятся, - раздумчиво сказал Курбатов.

С Костыри разом слетела дурашливость, он помрачнел, глухо обронил:

- Я бы эту фашистскую сволочь по частям резал.

- Точно, - поддержал Виктор. - Всех их надо! - И высказал общую мечту: - Когда же нас отзовут отсюда? Так и война кончится.

- Да уж героем здесь не станешь, - согласился Лыткин.

- Вместо немцев ненцев видим, - подал голос "великий немой".

- Спать! - приказал Чупахин.

* * *

В мае солнце стало ощутимо пригревать, и воздух налился перламутровым сиянием.

Подтаивали и с таинственным шорохом оседали снега. На пригорках кое-где показались кочки с побуревшим прошлогодним мхом. В ложбинках накапливалась первородно чистая вода и по ночам застывала стеклянными звонкими пластинками.

Прилетели птицы.

Костыря, всю зиму обещавший сводить Курбатова и Лыткина на птичий базар, уломал однажды старшину отпустить их к дальним скалам, где поселились тысячи птиц. Пошел с ребятами и Жохов.

- Конфискуем излишки, - весело ощерялся Костыря, скорехонько собираясь в дорогу, пока не передумал старшина.

С приближением лета служба действительно пошла веселее. К теплу, к солнцу примешалось чувство ожидания смены, не век же им торчать в этой дыре.

На дальнем мысу, обрывистом и высоком, далеко в море выступали скалы. На них и был птичий базар. Тысячи птиц сидели и кружили над голыми камнями, оглашая воздух неистовым криком.

- Как на одесском базаре! - кричал Костыря, стараясь переорать птиц, и с гордостью повел рукой широко вокруг, будто показывал свое собственное владение.

- Ярмарка! - согласно кивнул Генка Лыткин.

Скалы были сплошь в птичьей помете и яйцах. Ребят удивило, что яйца не падают с совершенно голых камней вниз, в море.

Костыря обвязался пеньковым канатом, повесил на шею корзинку, сплетенную им самим из прутьев полярной ивы, и сказал:

- Держите! Только крепко! Знайте, что на конце этого пенькового конца бесценная жизнь Мишки Костыри!

- Ладно, не болтай.

Жохов крепко взялся за канат, опоясав себя вокруг туловища, и уперся чугунными ногами в камень. Виктор Курбатов тоже взялся за канат, чтобы в случае надобности помочь Жохову. Генка стоял разинув рот. Он был ошеломлен гамом и беспрестанным движением птиц. Он переводил глаза то на камни, покрытые, как накипью, птицами, то на небо, где тучами летали птицы, то на море, которого не было видно опять же из-за птиц.

Нахлобучив шапку на самые брови, чтобы какая-нибудь птица не выхлестала глаза, Костыря осторожно спускался вниз. Когда он достиг ближайшего выступа и утвердился на нем, шум возрос. Птицы, спугнутые непрошеным гостем, поднялись в воздух и сотрясали его неистовым многоголосым криком. Они летали над Костырей, стараясь отогнать его от яиц, и щедро поливали жидким пометом... Но Костыря был не из робкого десятка. Он знай себе наполнял корзинку отборными яйцами. Длилось это с полчаса, и ребята оглохли от крика и хлопанья крыльев. Наконец Костыря дернул веревку три раза, и ребята стали его вытаскивать наверх. Вытащили и схватились за животы от смеха. Перед ними стояло какое-то чучело, облитое белым пометом, все в перьях и в пуху, а в корзинке сверху лежали разбитые яйца.

- Чего ржете, народ! - осклабился и сам Костыря. - Для вас старался.

Ребята отошли подальше от птичьего шума и крика и общими усилиями очистили Костырю.

- Теперь будем ходить сюда, как на птицеферму, - довольно говорил Костыря, отмывая снегом руки и лицо.

- Набрать их и в снег, - предложил Жохов. - Как в погребе сохранятся.

- Точно, - поддержал эту мысль Костыря. - И вообще, надо сюда ходить на огневую подготовку, по движущимся целям бить.

- Смотри, какие яйца, - показал Лыткин Курбатову. - Как груши, поэтому и держатся на камнях, а куриные давно бы скатились. Приспособились птицы к условиям.

- Глядите-ка, - ткнул рукой Костыря.

Все посмотрели, куда он показал, и увидели, как полярная крупная сова треплет в мохнатых когтистых лапах чайку, отрывая окровавленным клювом куски мяса с пухом и перьями. Другие чайки сидели рядом равнодушно и беззаботно, нисколько не обращая внимания на свою погибающую подружку.

Костыря схватил камень и кинул в сову. Сова выпустила добычу и низко, косо заскользила над камнями.

- Помирать полетела, - сказал Костыря. - Снайперский удар.

В тот вечер Генка Лыткин усердно рисовал Чупахина. Длинное, вечно бурое, с белыми бровями и крупным сухим носом лицо старшины было преисполнено значительности и торжественной суровости. Подтянутый, наглаженный, с начищенными до блеска пуговицами, в полной парадной форме, с автоматом на груди, Чупахин застыл по стойке "смирно", не мигая и не дыша, ел глазами Генку, который, как заправский художник, то относил от себя лист бумаги и, прищурясь, смотрел на рисунок, то пододвигал к себе и кидал на него штрихи, то впивался глазами в самого Чупахина, и от этого взгляда старшина еще больше каменел. Старшина был узкоплеч, жердист, но во всей его нескладной фигуре чувствовалась трехжильность и та внутренняя уверенность в своей правоте, которая заставляет уважать и побаиваться.

Не так-то просто было написать с некрасивого Чупахина портрет бравого старшины, а именно такой он и требовал, ни больше ни меньше. Генка Лыткин упредел, лицо его выражало досаду, что вот уступил просьбам Чупахина, а теперь мучается.

На нарах полулежал Мишка Костыря и, тихо брэнча на гитаре, мурлыкал:

Как-то однажды пришли к рыбаку за водою

Юношей много, и был среди юношей он,

Смуглый красавец с коварной и злою душою,

Пальцы в перстнях - настоящий купеческий сын...

Временами он усмешливо косил на старшину черные блестящие глаза. Чупахин боковым зрением ловил эти взгляды и еще больше багровел.

Костыря прихлопнул струны гитары и спросил недовольно:

- Скоро ты там?

- Сейчас, - отозвался Пенюв.

Он возился у рации, стараясь поймать Москву, чтобы послушать вечернее сообщение Совинформбюро о положении на фронтах.

Вот и пошло, полюбили друг друга на горе
Смуглый красавец и юная дочь рыбака...
продолжил было Костыря.

- Стоп! Передают! - поднял руку Пенев.

Смолкла гитара, Генка замер с карандашом в руках, а Чупахин как стоял, так и остался стоять, только чуть скосил глаза на рацию. Пенев снял с головы наушники и включил громкоговоритель. Сквозь завывания и треск разрядов вдруг прорвалось отчетливо и громко: "...в ходе упорных боев уничтожено и взято в плен более десяти тысяч солдат и офицеров противника. Успешно продвигаясь вперед, войска..."

Рация всхлипнула и смолкла. Пенев схватился за настройку. Все, вытянув шеи, с радостной напряженностью смотрели на него.

- Давай, давай! - нетерпеливо подгонял Костыря.

Но сколько Пенев ни вертел регуляторы, больше Москву не поймал.

- Тебе хвосты телятам крутить, а не на рации работать, - озлился Костыря. Уши Пенева набрякли алой кровью.

Открылся люк наверху, и со смотровой площадки, громяхая настывшими сапогами, спустился Виктор Курбатов. Потер задубевшие от ветра щеки, улыбнулся.

- Весной пахнет, с юга наносит.

- Слыхал, как наши? - спросил Костыря. - Десять тысяч в плен взяли!

- Ну-у! - обрадовался Виктор. - А где?

- Разве с таким радистом будешь знать - где! - кивнул на Пенева Костыря. - Это наверняка морячки-черноморцы дают прикурить. Эх, мне бы к ним! В морской десант!

- А я в разведку хочу. - Виктор разделся, повесил полушубок на гвоздь. - Часовых снимать.

- Тоже дело, - согласно кивнул Костыря.

- Вот так, бесшумно.

И Виктор продемонстрировал, как бы он это сделал. На удивление ребят, он совершенно неслышно прошелся в своих сапожищах по скрипучим половицам кубрика до Пенева, который сидел спиной к ребятам и все еще возился около рации.

- Р-раз! - Воображаемым пистолетом Виктор нанес молниеносный удар по голове радиста. - И кляп в рот! - Ловко заломил Пенову руки назад. "Язык" взят.

Красивое, смуглое, с неожиданно светлыми глазами лицо Виктора и вся его подбористая фигура спортсмена дышали удовлетворением от своей ловкости и сноровки. Пенев икал и недоуменно тарачил глаза на хохочущих ребят.

- Работа - класс, - одобрил Костыря. - Можешь!

Чупахин набычился, забыв, что позирует и ему надо стоять смирно.

- Прекратить! Цирк вам тут!

Посмотрел на большие корабельные часы, прикрепленные к стене, которые были единственным, действительно корабельным предметом в кубрике.

- Выходи на прогулку!

Матросы нехотя стали одеваться. Зануда старшина! Дисциплину держит, как на корабле. Утром подъемчик в шесть ноль-ноль, физзарядочка зимой и летом в любую погоду. Потом уборка поста: вылизывать все уголки, драить каждую половицу. А днем, если на вахте не стоишь и по камбузу не дежуришь, милости просим уставы зубрить, или оружие изучать, или стрелять по цели, или - еще лучше - строевой заниматься: "держат ножку", "рубить" строевым шагом, отрабатывать подход к командиру и отдачу воинского приветствия. И все это по часам, по расписанию, с перерывами на перекур, как в учебном отряде. Больше всех такими порядками был недоволен Костыря, любивший подрыхнуть и посачковать. "Кому это надо! - бурчал он. Офицеров нету, никто не видит. Поспать не даст. С такой жизни ноги протянешь". Но высказывать громко эти крамольные мысли давно перестал, ибо за такие разговорчики не один раз уже схлопывал наряды вне очереди.

В мае тундра еще в снегах, и море у берега заковано припаем, но весна подошла уже вплотную, и матросы это чувствовали. И хотя вечер был довольно морозный и под ногами хрустел снег, ребята бодро совершили прогулку вокруг поста. Костыря горланил во всю глотку:

Бульвар черемухой покрылся,

Каштан французский весь в цвету...

И, поддельвая песню под походный марш, рубил строевым шагом.

Со стороны странное зрелище представляли шестеро матросов, марширующих с песней среди тундры. Но таков был Чупахин, и положенные на прогулку пятнадцать минут они оттопали.

Потом быстро улеглись и заснули здоровым молодым сном. Бодрствовал только Пенюв - он заступил на вахту. То поднимался на смотровую площадку и глядел на море и звездное небо, то спускался в кубрик и садился у радиации и, потихоньку покручивая регуляторы, ловил многоголосый эфир. Надземное пространство было забито шорохами, музыкой, приказами, позывными. Планета переговаривалась. Пенюв любил сидеть вот так в тишине, один на один с радиосигналами, и слушать, как дышит и живет Земля. С соседней метеостанции передавали погоду. Эта метеостанция в сотне километров, но все равно считалась соседкой, ибо между постом и ею не было ни одного населенного пункта. Пенюв занес в вахтенный журнал прогноз погоды. Обещали шторм в пять-шесть баллов и сильный порывистый ветер норд-ост. И осадки. Погодка пока не балует, но скоро прекратятся весенние штормы и наступит лето. Пенюв послушал позывную волну, она молчала. Да и кто сейчас будет вызывать пост. Час радиосвязи днем. Послушал волну, на которой передают SOS. Тоже тихо, слава богу. Сквозь шум и треск разрядов прорывался тоненький, как комариный писк, голосок. Пенюв завертел регуляторами, голос окреп. Какая-то певица пела "Темную ночь". Пенюв прослушал до конца. Раздались аплодисменты. Передавали концерт. Где-то далеко-далеко сидели люди в театре и слушали концерт. Где-то за тридевять земель идет совсем другая жизнь. Там много людей, они видят друг друга, ходят в кино, в театры, смеются. И где-то гремит война, вот, может быть, сейчас идет наступление и кто-то умирает, кто-то стреляет, кто-то кричит. А здесь тихо, как вчера, как сегодня, как завтра.

Пенюв выключил радию, подбросил дров в печку и поднялся на смотровую площадку. Прислонился спиной к погашенному прожектору и задумчиво и незряче глядел в темь ночи. С юга наносило сырым теплым ветром.

Вспомнились места, где прошло детство. Родом он был из вологодской деревеньки, затерянной в мелких и топких лесах. Любил тишину и одиночество. С весны, когда заканчивались в школе занятия, он работал в колхозе подпаском. Любил где-нибудь на бугорке возле тихой и светлой речки или посереде луга, сплошь утыканного одуванчиками, дудеть на дудке незатейливый мотивчик. Любил слушать, как тихо позванивают колокольчики на телячьих шеях, как поют птицы в кустах. Любил обдуть пушистую круглую головку одуванчика и смотреть, как улетает пух в блекло-синее небо. Любил глядеть вдаль, на низкий северный горизонт. Любил ходить за стадом по полям и кустарникам, собирать бруснику, чернику, грибы. И сейчас, стоя на смотровой площадке, охраняя сон товарищей, нестерпимо захотел он в свою деревню, на приволье плоских неярких полей. Мечтал, как вернется домой, как ахнут все, увидев его в красивой морской форме, - он первый моряк из их деревни, как будет ездить на велосипеде, давней и заветной мечте своей. В детстве мечтал Петя иметь свой велосипед. И когда его звали играть на свадьбе или на именинах - а гармонист он был отличный, - то он обязательно, если у хозяина был велосипед, выговаривал покатайся на этом чуде. Бывало, поиграет-поиграет на гармошке - и на велосипед. Покатается - и опять за гармошку. Вся деревня знала эту слабость молодого паренька, и его звали "Петя-велосипед". Теперь он с улыбкой вспоминал о своей скромной мечте. Вернувшись, он, пожалуй, уедет в город работать радистом или радиомонтером и велосипед купит. Вспомнил Петя мать-кружевницу, из-под рук которой выходят кружева, тончайшие, как зимний узор на стекле. Вспомнил бородатого отца - бригадира полеводческой бригады, степенного и молчаливого. Так и полетел бы на крыльях, покружил бы над домом, над родимой деревней, над тихой и светлой речушкой в пологих топких берегах, посидел бы на бугре и поиграл на дудке.

Петя вздохнул и направился в кубрик, чтобы подбросить в печку дров.

* * *

Окончательно, прочно весна на Север приходит поздно, в июне. Наступает полярный день. Незакатное солнце низко кружит над тундрой день и ночь. И после отбоя не спится.

В такую вот солнечную июньскую ночь Мишка Костыря и Виктор Курбатов крадучись выскользнули из поста. На смотровой площадке нес вахту Генка Лыткин.

- Вы куда? - перегнулся он через перила.
- Рыбачить, - ответил Виктор.
- Старшина спит?
- Спит.
- Ну будет вам, когда проснется, - пообещал Генка и покачал головой.
- Ладно, - беспечно махнул рукой Костыря. - Ты иди лучше кашу вари.

Генка обидчиво засопел и отвернулся. Виктор усмехнулся, вспомнив, как Генка варил рисовую кашу. Они тогда с ним только что прибыли на пост, заменили двух заболевших цингой матросов. Никогда в жизни Генка не кулинаруил, и в первое его дежурство по камбузу Чупахин дал задание попроще - всего-навсего сварить кашу. Генка набухал полную кастрюлю риса, залил водой, поставил на огонь и сел ждать. Смотрит: рис шапкой поднимается над кастрюлей. Что делать? Сообразил: неладно что-то. Позвать на помощь постеснялся. А рис все лезет и лезет. Схватил Генка ложку и давай уплетать. Полными ложками ест, давится полусырым, хрустящим на зубах рисом, а тот все прет и прет через край. Ел-ел - полкастрюли слопал. Вдобавок еще пересолил. Ребята от каши отказались. А Генка потом животом маялся.

Курбатов и Костыря перебрались с берега на ледовый припай и обосновались один у трещины, другой у полыньи. Гладкий и скользкий лед под ногами похрустывал, дышал, но до берега было недалеко и потому безопасно.

Виктор опускал в полынью самодельный сачок, через несколько минут поднимал его и вытряхивал на лед пять-шесть рыбешек. Попадалась все сайка, породы тресковых. Костыря же ловил "на поддев", с пятью крючками. У него дело спорилось лучше, у ног лежала горка трепещущей рыбы, раза в два больше, чем у Виктора.

Всю зиму ребята питались солониной, консервами и сушеной картошкой. Осточертела такая еда, и теперь они были рады попробовать свежинки. Еще зимой Костыря обещал: "Погодите, вот весна настанет, и рыбки поедим, и птиц тут будет видимо-невидимо, яиц навалом. Откроем филиал ресторана "Дары природы".

Подошел Генка. Он томился ожиданием.

- Ну как?
- Порядок, - подмигнул Костыря.
- Вот Чупахин проснется, будет "порядок".
- Ты иди на свое место, а то сам наряд схлопочешь, - огрызнулся Костыря, снимая рыбешек и бросая их на лед.

Рыба билась, сверкая на солнце чешуей, и затихала. Издали будто гряда серебра лежит.

Виктор бросил ловить и смотрел в блекло-синюю даль. Он подсознательно ждал какого-то дива, которое вот-вот должно было свершиться.

Солнце уже несколько дней не закатывалось, низко торчало над горизонтом и величественное снежное пространство днем и ночью дробилось, рассыпая радужные блики. Но было еще холодно.

И вдруг ощутимо дрогнул воздух под напором южного ветра, будто дохнуло из печи. Стало жарко, как возле огня, и это было странно: кругом снег, лед, Северный полюс обок, и вдруг жарко!

Костыря сорвал с головы шапку и, подбросив ее кверху, заорал благим матом:

- Весна, весна идет! Ура-а!
- Чего орешь? - весело отозвался Виктор. - Чупахин проснется.
- Чихал я на твоего Чупахина! - махнул рукой Костыря. - Весна!

И он лихо выбил чечетку на льду.

Виктор смотрел во все глаза. Он впервые видел, как внезапно и прямо-таки физически ощутимо вступает в свои права весна в Заполярье. То, что на Алтае происходит незаметно, исподволь, на что требуются дни и недели, тут совершается буквально на глазах.

Виктор вдруг уловил нежный перезвон, будто звенели легкие стеклянные колокольчики, и сначала не понял откуда, но тотчас увидел, что совсем рядом, у ног, сбегает в полынью ручеек, а вон еще один, вон еще! У Виктора будто пелена с глаз опустилась, и он увидел, как десятками ручьев блестит, переливает ледовый припай, как вся тундра, осиянная солнцем, дымитесь теплым воздухом и преобразается не по дням, не по часам, а по минутам.

Виктор снял шапку, распахнул полушубок.

- У-у, вот это да! Смотри, как сразу! - восторженно крутил он головой.

- Тут всегда так, - ликующе скалил зубы Костыря. Он был старожил, вторую весну здесь встречал. - Здорово, черт побери!

- Здорово!

Из поста вышел Чупахин.

- Полундра, - предупредил Виктор.

- Э-эх! - протянул Костыря. - Испортил весну.

Чупахин добрался до ребят. Молча посмотрел на серебристую грудку рыбы и потом долго не отрывал глаз от горизонта. Неожиданно сказал:

- Красота-то какая!

Костыря хмыкнул:

- Гляди-ка, и тебя пробрало.

Чупахин, не удостоив его взглядом, сказал:

- Три наряда вне очереди.

- На двоих? - осведомился Костыря.

- На одного.

- Несправедливо.

- Справедливо. Ты - зачинщик. А тебя, - Чупахин не улыбочиво взглянул на Виктора, - предупреждаю.

- Испортил рыбалку. - Костыря нахлобучил шапку на голову. - Смотри, сколько наловили, а ты "три наряда"...

- Вот и будешь чистить на камбузе, уху варить.

* * *

Через несколько дней тундру было не узнать. Ударили южные ветры, установились погожие деньки, и неприхотливая северная растительность буйно поперла из земли. Прямо на глазах тундра покрывалась цветами самой яркой, самой сочной раскраски. Виктор дивился, он никак не ожидал здесь такой щедрости красок, такого множества цветов: для него тундра была мертвым окоченелым краем. Теперь же здесь молодо, буйно, торопливо кипела жизнь. На северных склонах еще лежал искрящийся снег, а на южных - ярко и сочно зеленела трава и кудрявился мох. Распустились большие и неправдоподобно красивые полярные маки, выбросил глянцево-зеленые листки ползучий кустарник, карликовая березка надела сережки. В низинках, на льду, собиралась чистая вода. Она была необыкновенно вкусна. Стоило ее попить с ладоней - и кровь закипала в жилах. Хотелось свершить что-то необыкновенное, хотелось пуститься в пляс с песнями и посвистом. Эту воду пили птицы и, наверное, хмелели. Птичий гомон разрывал долгое безмолвие тундры. Кругом свистело, крякало, шипело и хлопало крыльями так, что стонала земля.

Виктор ошарашенно глазел на этот праздничный весенний базар и не мог надивиться. Вот это да! Голоса человеческого не слышно!

Море тоже изменилось. Всплыл береговой припай и, освобожденный от снега, сверкал зеленоватым стеклом на изломе. Льды дрейфовали в открытое море, белыми полянами тянулись до самого горизонта. У берега колыхалась широкая полоса зеленой воды. И даже на глаз было видно, как она холодна.

В такие дни Виктор любил ходить в тундру и всегда с удовольствием выполнял приказание Чупахина осмотреть берег в секторе поста. Обычно он ходил с Генкой.

...Когда они попали на пост, дождливой и холодной осенью прошлого года, Генка тоскливо сказал: "Ну занесло нас! До дому не докричишься". А теперь, в эти весенние дни, будто и не было мучительно длинных месяцев, когда вокруг завывала метель и на тысячи верст был только снег да нервно переливающиеся сполохи северного сияния. К посту подходили белые медведи, и ребята отпугивали их выстрелами. В такой обстановке можно было и одичать, если бы не железная воля Чупахина.

Теперь все это позади, и тундра уже не кажется гибельным местом, сейчас она даже напоминает родную сторонку: тот же простор, куда ни кинь глаз, тот же цветистый убор, тот же вольный ветер с юга.

Детство Виктора прошло в степном Алтае. Там теплые озера и быстрые реки, хранящие холодок поднебесных снегов. На горизонте синие горы подпирают безоблачное небо. Короткое детство, налитое до краев солнцем, счастьем и радостью, кончилось в тот ноябрьский вечер, когда накануне праздника принесли отца домой. Истекая кровью, отец хрипел на лавке: "Врешь, наша перетянет! Советскую власть на вилы не подымешь!" Неулыбчивый и добрый отец прошел с боями всю землю: и в первую мировую воевал, и в революции участвовал, и в гражданскую был партизаном на Алтае. Первый большевик в своей деревне. В тридцать втором раскулачил он своих старших братьев. Они и заporоли его вилами. После похорон видел Виктор своих дядьев. Вели их под конвоем. Страшны были они, страшны своей непримиримостью, злобой лютой. А когда-то угощали они Виктора сотовым медом, по голове гладили. Виктор помнил, как один из них вытащил пчелу из меда, обтер ее осторожно, отпустил лететь, сказав: "Божья тварь, тоже жить хочет". А родного брата на вилы поднял...

Вскоре после убийства отца переехали они с матерью в небольшой городок. Там, в школе, он оказался на одной парте с Генкой Лыткиным. С той поры неразлучны они, даже служить попали вместе. Не каждому так повезет - служить вместе с другом...

Идет Виктор берегом моря, листает мысленно страницы своей короткой восемнадцатилетней жизни и все чаще вспоминает дни - год назад, - когда уходили они с Генкой на службу. Тогда, рано утром в день отправки, пришли они с Генкой к Вере - чернокозой и черноглазой однокласснице попрощаться. Генку Виктор для храбрости взял. На стук вышла Верина мать. Виктор оробел. Генка за спину спрятался. Верина мать недовольно оглядела смущенных парней: "Спит Вера, еще бы среди ночи пришли". - "Мы на фронт уходим", - сказал Виктор. Во взгляде женщины что-то дрогнуло. Молча вошла она в дом. Вера выскочила заспанная, испуганная. Смотрела во все глаза на Виктора. Генка тактично смылся, мать тоже не показывалась, только младшая сестренка Веры, этакий чертенок с косичками, вертелась под ногами и тарщила любопытные и хитрющие глазенки. Вера прогнала ее. Тогда-то Виктор расхрабрился и чмокнул Веру куда-то в нос, а она замерла и невпопад спросила: "Учиться не будешь?" Чудачка! Он на фронт уходил, а она о школе. "Ты меня жди", - сказал Виктор наставительно, он знал, что все так говорят, когда уходят. Даже в песне поется: "Жди меня, и я вернусь..." "Буду, - прошептала она. - Я дождусь..."

* * *

Вот-вот должно было прийти на пост судно из Архангельска. Матросы с томительным нетерпением ели глазами край моря, уже чистого ото льда, спрашивали Пенова: "Ну скоро, что ли?" Радист пожимал плечами. "Чего ты тогда сидишь у радики без толку! Намекнул бы в штаб, что, мол, пора".

В один из таких дней Чупахин и Виктор Курбатов смолили шлюпку, которая понадобится при подходе судна. На смотровой площадке изнывал на вахте Костыря, а внизу, в кубрике, у радики сидел Пенев - наступил установленный час связи со штабом.

Костыря, насвистывая "Чижика-пыжика", скучающе глядел на море.

Серая туманная дымка начинала затягивать воду. Горизонт уже был не виден. Костыря поднял люк в кубрик и спросил Пенова:

- Ну что там штаб?

- Молчит пока.

- Плохой ты радист. У хорошего, как только сядет за радику, сразу же "пи-пи-пи".

- Ты своим делом занимайся, - недовольно сказал Пенев. - В мое не лезь.

- "Своим", - передразнил Костыря. - А у меня как раз никакого дела нет. Вот давай поговорим за жизнь. Знаешь, почему вас, вологодских, телятами зовут?

Не успел Пенев обидеться, как Мишка обрушил на его голову историческую небылицу.

- Дело было при Петре, при твоём тезке. Приказал он набрать для армии провиант: с Украины там хлеб, с Астрахани рыбу, а с Вологды телят на мясо. Дает вологодскому губернатору телеграмму: срочно выслать эшелон телят. А у вас там, в Вологде, телеграфист пьяный сидел, с девкой обнимался. Перепутал слово, вместо "телят" поставил "ребят". Губернатор собрал парней, в эшелон их - и к Петру, в Питер. Комендант Меншиков приходит разгружать вагоны, глядь - вместо телят вологодские ребята! С тех пор и зовут вас телятами.

- Не было при Петре ни телеграфа, ни железной дороги, - буркнул Пенев.

- Ну и что! - не растерялся Костыря. - Телята-то были. Были или нет телята? - напер он на Пенева.

- Были, - сдался радист.

- Так чего же ты споришь, чего мне голову морочишь! Историю знать надо, - постучал Костыря пальцем по лбу. - Темнота! Я тебе еще могу рассказать, как...

Заработала рация, Пенев махнул Костыре рукой: замолчи, мол, сгинь, и весь напрягся, принимая радиограмму. Костыря тихонько прикрыл люк.

По мере того как из россыпи точек и тире возникал смысл радиограммы, Пенев все больше бледнел. Уже отстучала морзянка, а Пенев еще и еще раз пробежал взглядом написанное и не верил своим глазам.

- Товарищ старшина, товарищ старшина! - закричал он, выскакивая из поста и со страхом, будто змею, неся в руке на отлете ленту с текстом.

Чупахин и Виктор бросили смолить шлюпку и смотрели на подбегающего радиста.

- Корабль к нам идет?! - обрадовался Виктор. - Смену везут?

- Товарищ старшина!..

- Давай, чего орешь. - Чупахин выдернул из рук Пенева ленту.

С радостным ожиданием быстро пробежал глазами текст и нахмурился.

Пенев испуганными глазами следил за выражением лица старшины, и на его собственном лице, как в зеркале, отражались тревожные мысли Чупахина.

Старшина еще раз прочитал радиограмму, сурово и беспокойно взглянул на Виктора и быстро пошел в пост. Поднялся по трапу на смотровую площадку.

- Костыря!

- Все в порядке, - доложил Мишка, глядя на старшину невозмутимыми глазами.

- Дай-ка бинокль!

- Туман падает, - сказал Костыря, подавая бинокль, - ни черта не видно.

- Прочти вот. - Чупахин подал ленту, а сам, взяв у него бинокль, внимательно оглядывал море.

Костыря прочитал радиограмму, протяжно свистнул и наметанно зорко окинул море, потом выжидающе уставился на старшину.

Чупахин отнял от глаз бинокль, серьезно посмотрел на Костыря, Пенева и Виктора, поднявшихся вслед за ним на смотровую площадку, и приказал:

- Пенев, от рации не отходить!

- Есть не отходить от рации! - повторил радист и тотчас спустился вниз.

- Костыря, тебе наблюдать за морем!

- Есть!

- А ты со мной вниз!

- Есть! - сказал Виктор.

Еще раз окинув туманное море, Чупахин спустился вниз, в жилой кубрик, где спал после вахты Генка Лыткин и чистил оружие Жохов.

Генка долго не мог проснуться и в полусне, с закрытыми глазами, натянул на босую ногу сапог, а потом начал наматывать на этот сапог портянку.

- Проснись! - потряс его за плечо Чупахин. - Чего делаешь? Открой глаза.

Генка открыл и долго, бестолково хлопал ими, не в силах освободиться от власти еще по-детски сладкого сна. На щеке его нежно алел рубец от подушки, в волосах запуталась пушинка, и походил он сейчас не на матроса, а на мальчишку, которого мать подняла в школу.

Чупахин, самый старший на посту не только по званию и должности, но еще и по возрасту - ему было двадцать, - с сожалением поглядел на Лыткина, вздохнул и зачитал радиogramму. В ней сообщалось, что в квадрате их поста погиб советский транспорт, и приказывалось немедленно начать обследование побережья.

- Курбатов, пойдешь с Лыткиным до Прелой Губы, - приказал Чупахин Виктору. - А мы с Жоховым - на запад.

- Есть! - откозырял Виктор.

- Примечайте все. Может быть, где что прибьет к берегу, обломки там или еще что. Может, шлюпку увидите.

- Ясно! - ответил Виктор и закинул винтовку за спину.

* * *

Пенов сидел с наушниками на голове и, поминая всех чертей, чинил штаны, которые только что распорол, зацепившись за гвоздь. Чинил, а сам с тревогой думал о погибшем транспорте. Что случилось с ним? Налетел на мель? Но здесь глубина. Или льдами затерло. Но сейчас море совсем чистое, да и вообще тут опасных льдов из-за Гольфстрима не бывает. Может, немцы утопили? Чепуха! Откуда они тут, в тысячекилометровом тылу!

Так думал Пенов, а сам напряженно вслушивался в эфир. В наушниках пищало, свистело, обрывалось, наступала тишина - и вновь пищало. Все было как обычно.

Выше, на смотровой площадке, скучал Мишка Костыря.

На море все плотнее опускался туман.

Костыре не по нутру были такие вахты на смотровой площадке. Торчат пеньком четыре часа не в его характере. И вообще ему непонятно, зачем эти наблюдения? Немцы, что ли, тут появятся? Наши-то корабли не очень часто ходят, не то что немцы. А уж не тот ли это корабль, который должен был прийти к ним? А если тот?

- Петька, слышь! - крикнул Костыря, открыв люк. - Ничего больше не передавали? Это не тот транспорт, который к нам должен зайти?

- Не знаю. Молчит рация.

- Вот черт! - Костыря закрыл люк. - Неужели загнулись кореша?

Костыря раздумчиво глядел на море, которое все плотнее и плотнее закутывало мглой. Старшой попер вдоль берега, какого черта он увидит! Утром бы пораньше встали и обследовали. Старшой, конечно, служака. Откуда такие берутся! Говорят, хохлы - служаки. Но вот он, Мишка, хохол. Какой он служака? А Чупахин - кацап из-под Омска. Ввел порядочки как на корабле. На посту курить, например, запрещает! А кто увидит? Кто узнает?

Костыре, как назло, захотелось курить. Может, и не хотелось, недавно и курил, но Мишке казалось, что вот если сейчас же, немедленно, не закурит, то помрет. Да и погреться пора уже. С севера тянуло промозглым холодом. Лето называется! Хорошо там в тепле сидеть, стой-ка вот тут, на открытом месте. В такую погоду хороший хозяин собаку на улицу не выгонит, а тут... Зря он, Мишка, не радист, а просто "рогаль", строевой. А то сидел бы, как Пенов, всегда в тепле, загорал бы пузом кверху. Костыре стало жаль себя. Он уже представлял, что один мучается на смотровой площадке, а остальные будто только и знают, что сидят в тепле да покуривают. Костыря еще раз для порядка посмотрел на море, совсем уже невидимое в тумане, и, открыв люк, крикнул вниз:

- Петька, огонек есть?

Пенов молчал.

- Оглох или кемаришь? Огонек, говорю, есть?

"Катюша" была и у самого Мишки, но просто хотелось несколько минут побыть в тепле, посмотреть на лопоухого Пенова. Может, он что-нибудь скажет успокаивающее о транспорте.

- Ты иди наверх. - Пенев недовольно сдвинул белесые брови, когда Мишка спустился в кубрик. - Чего ты?

- Вот зубы погрею дымком - и пойду.

Костыря нарочито замедленно достал из кармана кисет, бумагу, свернул сигарку. Не спуская насмешливых глаз с радиста и внутренне усмехаясь нетерпеливому взгляду Пенева, так же медленно взял его "Катюшу" кресало, кремень и жгут - с рации, стал высекать огонь. Прикурил, пустил колечко дыма Пеневу в лицо. Радист сердито мотнул головой.

- Ты давай иди.

- Не бубни, - отмахнулся Костыря. - Там ни черта не видно. Туман глаз выколи.

В кубрике было тихо, тепло, светился зеленый глазок рации, уходить не хотелось, так бы и сидел, курил и смотрел бы на недовольно сопевшего Пенева.

Костыря докурил сигарку, пока не стала припекать губы, посмотрел с сожалением на окурок, сладко потянулся всем млеющим от тепла телом и напоследок сказал:

- Ну, чини свои клеши, полез я на верхотуру дрожжи продавать.

- Дрожи сильнее - не замерзнешь, - напутствовал его Пенев и облегченно вздохнул. Недолюбливал он Мишку за насмешки.

Петя Пенев любил людей рассудительных и скромных. Сам он уважителен и послушен. Слово Чупахина для него закон. А этот шумливый одессит все время стремится нарушить распорядок дня и мирное течение жизни, вечно спорит со старшиной, все чего-то ему не хватает. Свободы, говорит. Хорошо, что улез на смотровую площадку, а то вернулся бы Чупахин, было бы делов...

На море плотно пал туман. На смотровой площадке было сумрачно. Костыря прислонился к мачте и замурлыкал песню про Мишку-моряка. Обожал эту песню Костыря.

Широкие лиманы, поникшие каштаны.

Красавица Одесса под вражеским огнем,

С горячим пулеметом на вахте неустанно

Молоденький парнишка служит моряком...

Костыря любовно погладил запотевший от тумана автомат, висевший на гвозде мачты, ощутил холодную влагу на ладони. Взял автомат в руки, с удовольствием подержал, чувствуя молчаливую и грозную тяжесть. "Эх, сейчас бы с этим автоматом на фронт или... в Одессу! Ах, Одесса, лучший город в мире!..."

Мишка с детства мечтал о дальних странах, о неведомых островах, о морских путешествиях и приключениях. И все они начинались с белой Одессы - необыкновенного города на берегу теплого ласкового моря, города, которого Мишка ни разу в жизни не видел, но много раз слышал о нем от своего дяди, бывшего черноморца. Дядя так расписывал этот город, так копировал выговор и манеру держаться одесситов, что Мишка невольно подражал ему. Не единожды пытался Мишка дать тягу из дому, но все неудачно. Один раз совсем было удрал. Прихватил у матери всю получку и рванул в город своей мечты. Забрался в общий вагон под лавку и там, дыша пылью и боясь чихнуть, в сладких мечтах был уже в одесском порту, вдыхал запах просмоленных канатов, слушал басовые гудки пароходов, уходящих в сказочные земли. Мысленно он знал уже всех биндюжников и капитанов и небрежно перебрасывался с ними парой слов на всех языках мира, а в иностранных флагах разбирался так же легко, как в своем собственном кармане.

Мишку вытащила из-под лавки железнодорожная милиция. Из материнской получки он успел истратить всего несколько рублей на мороженое и сухари. Дома был бит. Для этой цели был приглашен дядя-черноморец, так как отца у Мишки не было. Но дерзкая и гордая мечта о другой жизни, о сказочных и звучных странах Эльдорадо, Аргентине, Кубе не покидала Мишку, и мальчишеское сердце продолжало тосковать о дальних морских дорогах, о соленом ветре, о штормах и альбатросах. Уплывали мечты белыми птицами в синее море! А жить Мишка оставался в маленьком степном городке на берегу неширокой мелкой речки.

Вырос, окреп, стал сметлив, ухватист и боек. Носил тельняшку, клеши и мичманку набекрень, как заправский одессит. Работал летом на спасательной станции, вылавливал тонущих.

А зимой учился в школе, где был кумиром и атаманом всех ребят. Презрительно кривил губы, когда слышал про любовь. И все мальчишки знали, что он железный человек и ценит только мужскую дружбу. И никто не подозревал, что Мишка был тайно и безнадежно влюблен в девчонку, которая училась классом старше и была его соседкой. Становился он при ней беспомощен и стыдлив. И когда случалось из школы идти вместе, Мишка был счастлив и заикался от волнения. Наверное, она догадывалась о его чувствах и порою поддразнивала и кокетничала. Он же признаться ей не отважился. Так и ушел на войну.

И как же он обрадовался, когда взяли его служить именно во флот. Иной службы он и не представлял. В большом областном городе на призывном пункте выдал себя ребятам за одессита. Наконец-то он мог играть любимую роль, не боясь быть разоблаченным. Он почему-то был уверен, что попадет воевать только на Черное море, только в Одессу. И вдруг угодил вот в эту дыру...

Со стороны моря донесся стук, приглушенный голос. Мишка прислушался. Нет, показалось. Хоть бы скорее Чухахин вернулся, снял с вахты. Чего в такой туман стоять! Ни черта не видно!

Костыря включил прожектор, поводит им справа налево, чтобы дать ориентир ребятам, но луч света увязал в тумане, размазывался мутным оранжевым пятном совсем рядом. Ну да ничего, и без прожектора не потеряешься в этом богом забытом крае. Иди себе бережком, в пост обязательно упрешься, мимо не проскочишь. Костыря снова замурлыкал любимую:

Ведь ты моряк, Мишка, а это значит,

Что не страшны тебе ни горе, ни беда...

Тем временем внизу, в кубрике, открылась дверь. Пенев, который все еще чинил штаны - в этот момент он как раз вставлял в ушко иголки намусоленный конец нитки, - оглянулся не сразу. Да и кому было войти, как не Чухаину или Курбатову с Лыткиным. Но дверь почему-то не закрывалась, и за спиной хранилось молчание. Слегка удивленный тишиною, всунув наконец нитку в иголку и улыбаясь удаче, Пенев повернулся. Первое, что увидел он, был автомат, пристально уставивший на него черный пустой зрачок. Пенев хотел сказать: "Брось, какие шутки!" - как подсознательно отметил, что автомат не русской марки, и, еще тая в уголках рта тепло непогасшей улыбки, поднял глаза выше и какое-то время бессмысленно-тупо глядел в лицо немцу.

Немец был с бородкой эспаньолкой, а таких Пенев не видел ни на плакатах, ни в кино. И сейчас он видел впервые не только немца с эспаньолкой, но и вообще немца, живого немца и в то же время будто бы и нереального, как во сне, ибо откуда же, черт побери, взялся тут немцу да еще с эспаньолкой! За первым немцем в проеме двери Пенев увидел второго. Что за наваждение! Спит он, что ли! Все это пока скользило мимо сознания, еще даже не родился страх, еще было любопытно, и мозг продолжал работать вхолостую, но какой-то внутренний голос уже подсказывал, что нет, это не сон, это явь. На миг мелькнула нелепая и в своей нелепости показавшаяся правдивой мысль, что его просто разыгрывают и сейчас за этим, с эспаньолкой, раздастся знакомый хохот - и войдут в дверь ребята. Но страшная догадка уже смяла сердце. И, так и не поднимаясь от рации, Пенев хрипло, чужим голосом, которого и сам не узнал, дико закричал:

- Не-е-мцы!!!

Его схватили двое. Пенев отчаянно сопротивлялся, царапался, выворачивался вьюном. Со страху он лишился голоса и только хрипло мычал. Наконец голос у него прорезался, и он пронзительно звонко крикнул:

- Мишка, не-е-емм... а-аа-ахх!!! - от удара в висок в голову хлынула тяжелая гулкая чернота...

Костыря в этот момент насвистывал "Чижик-пыжик, где ты был?". Сквозь собственный свист уловил какой-то шум внизу и, считая, что это вернулись с обхода ребята, открыл люк - и оцепенел: по трапу, хорошо освещенному из кубрика, поднимался немец. Он неправдоподобно, как призрак, увеличивался в размерах и, казалось, заполнял не только отверстие люка, но и вообще все пространство вокруг. Еще не совсем отдавая себе отчет в действиях, Мишка, как рысь, прыгнул к автомату, который висел на гвозде мачты, сорвал его и в упор выпустил длинную очередь. Немец, успевший почти вылезти на площадку, переломился надвое и застрял в отверстии. Мишка зачем-то пустил веером очередь вокруг

себя в пустоту, как делал в детстве, когда отмахивался от ребят палкой. И тотчас на его автомат откликнулись снизу длинные пулевые вспышки. Щеки опухли знойный металлический ветер. Со звоном, на миг заглушив стук автоматов, лопнул прожектор. Осколки брызнули Мишке в лицо, он испуганно зажмурился.

- Эй, матрос! - крикнули снизу на чистом русском языке, четко и от этого сухо и странно выговаривая слова. - Сдавайся! Бессмысленно сопротивляться!

Мишка пустил длинную очередь на голос. И эта очередь, и ощущение тяжести оружия в руках вдруг дали Мишке уверенность и понимание происходящего.

- Ха! - сгоряча отчаянно-весело закричал Мишка. - Сунься! Ха!

Автомат бился в руках, как пойманная большая рыба, выплескивая в туманный сумрак горячие струи. Очереди гулко отдавались в груди.

- Ты моряк, Мишка!.. - кричал Костыря засевшую в голове строчку из песни. - Эх, не видно вас! А то б я вас на тарелочке!..

И вдруг автомат в его руках смолк, горячая дрожь оружия умерла. Мишка остервенело давил на спусковой крючок, еще не понимая, что кончился диск. Так и не осознав этого, он увидел, как две светящиеся трассы вспороли туман, и протянулись к нему совершенно параллельно друг другу, и начали сходить, суживая расстояние между собой, а он, Мишка, стоял как раз посередине. И он ясно понял, что это КОНЕЦ, что он не успеет уйти из-под удара, и, со всхлипом набрав полную грудь воздуха, оцепенело смотрел, как трассы все сходились, сходились, пока не превратились в одну раскаленную трубу, которая горячо и тупо ткнула ему в живот. Боли он не почувствовал, только стало нехорошо и тяжело, и тошнота подкатила к горлу. Он еще успел подумать, что эти трассы похожи на лучи прожекторов, потом удивился, что перестал слышать металлический клекот автоматов, и вдруг тысячью ламп снова вспыхнул прожектор, и Мишка опять удивился: откуда этот прожектор и кто его зажег, - а прожектор уже гас и с высоким, все затихающим и нежным звоном удалялся, гаснул, пока мелким сигарочным огоньком не потух вовсе...

* * *

Чупахин и Жохов были в километре от поста, когда услышали какие-то странные звуки, будто кто палкой провел по частоколу. Потом еще и еще. Ребята прислушались. Стреляют. Металлический стук автоматных очередей долетал то приглушенно и мягко, то отчетливо и ясно.

- Ну, задам я им! Патроны жгут! Опять этот пижон! - процедил сквозь зубы Чупахин, и Жохов понял, что Костыря несдобровать.

Извечное мужицкое сожаление о гибнущем добре - а патроны тоже ценность - заставило Чупахина прибавить шаг. Он понимал, что Костыря дает им звуковой ориентир. Но он же тратит НЗ! И что за дурак! Не соображает, что заблудиться, шагая по берегу, невозможно. Мимо поста не проскочишь. патронов совсем нет, а он бьет в белый свет как в копеечку! Нет, придется доложить командованию. Хватит с ним возиться!

Чупахин прислушался. Стрельба прекратилась.

Старшина не любил Костыря за болтливый и строптивый характер. Насмешник, пустослов и сачок вдобавок. Не то что Курбатов или Лыткин. Эти образованные. Курбатов все про звезды рассказывает, какую как звать и где находится. Чупахин, признаться, побаивается этих двух друзей, вернее сказать, смущается за свою серость перед ними. Лыткин и Курбатов - шутка сказать! - по девять классов закончили, да еще уйма книг прочли, а он кое-как четыре класса осилил и пошел коням хвосты чесать. По правде сказать, не больно и охоч он был до книжек, а теперь вот жалеет. Лыткин вон как начнет про трех мушкетеров шпарить - уши развесишь, или как на луну из пушки летали, или про подводную лодку, про капитана Немо... А может, подводная лодка стукнула транспорт? Да нет, откуда ей здесь появиться! Наши не пропустят. Если только севернее взяла, но там льды. А так бы ее засекли. Отчего все же он потонул? На мину наскочил? Вот это может быть. Мину, ее черт-те куда может затащить. Вот и напоролась. В тумане-то не видно. А может, разбомбили? Непохоже. Сюда самолету не долететь. Или собьют, или бензину не хватит. Скорее всего, на мину напоролась.

Густой молочный туман оседал на лице капельками влаги. С моря тянуло холодом.

Жохов тоже думал, но совсем о другом. Они уже переговорили с Чупахиным о транспорте, предположили причины гибели, тщательно обследовали берег, но никаких признаков кораблекрушения не обнаружили.

Жохов почему-то не верил, что корабль погиб, почему-то думал, что радиограмма - ошибка. И сейчас думал о том, что надо будет отправить письма с кораблем, который придет. Он писал домой каждую неделю всю зиму и складывал письма в стопку. С поверяющим офицером он тогда отправил все, но после этого опять накопилось порядочно, и теперь он ждал весенней оказии, чтобы снова переслать. Писал в основном ей, официантке из заводской столовой. И она ему писала. Ждет. Он раз из-за нее подрался. Четверых парней разметал. Заступился, когда они к ней приставать начали. С тех пор знал свою силу, и его на рабочей окраине, за прудом, тоже все знали. Грозилась убить, порезать ножом те четверо. Но не посмели. И ходил Жохов в заводской клуб, чтобы после танцев провожать Люсю домой. Все танцуют, а он стенку плечом подпирает. Люся ему выговаривала: над ней смеются, что он такой увалень. Порою плакала и стучала ему в грудь маленьким крепким кулачком. "И чего ты все молчишь!" - "А чего говорить?" - "Ну скажи хоть, что любишь". - "Сама знаешь, чего говорить". - "Господи, ну какие-нибудь красивые слова, стихи почитай, луна вон светит. У Клавки с раздаточной лейтенант все время стихи про любовь читает, слова такие говорит, что сердце заходится". - "Вот получит он танки и уедет - только и видела она его. Зайдется тогда сердце".

Мысленно Жохов видел Урал, Нижний Тагил, где прожил всю свою короткую жизнь, мартеновский цех, в котором успел поработать подручным сталевара, и отцовский домик на берегу Демидовского пруда. На том пруду Жохов провел детство: купался, тонул, ловил рыбу, назначал свидания. На войну его взяли в прошлом году, и попал он сюда, на этот тихий пост. Тундру переносил плохо, тосковал по дому сильно, но вида не подавал и все думал, что нервы у него железные и ему наплевать, где служить...

- Интересно, нашли что-нибудь Курбатов с Лыткиным? - прервал мысли Жохова Чупахин, когда они подходили к посту. - Такой туман!

Чупахину зажали рот и заломили руки, как только он вошел в помещение. Он замычал, рванулся, еще не понимая, что происходит. Острой болью пронзило правое плечо - ему выворачивали руку.

Чупахин пытался еще бороться, но его сильно ударили в лицо и скрутили.

Жохов испуганно отпрянул назад, когда на него навалились трое. Силач Жохов стряхнул их, как медведь стряхивает с себя собак, и, еще плохо соображая, откуда на посту немцы, мертвой хваткой вцепился в горло одному из них, ощущая, как податливо похрустывает под пальцами глотка и как течет на руку теплая пена изо рта немца. В этот момент страшный удар приклада обрушился на него. Жохов задохнулся от боли и, теряя сознание, дрябло опустился на пол...

* * *

Виктор и Генка возвращались на пост, тоже ничего не обнаружив. Они внимательно осмотрели весь берег, прошли дальше, чем велел старшина, кричали в сторону моря, стреляли, несмотря на приказ Чупахина экономить патроны, прислушивались в туман - в ответ ни звука. Они охрипли, расстреляли все патроны - старшина выдал им по обойме, - но ни на берегу, ни в море никто не откликнулся.

- Может, в другой стороне высадились, где Чупахин, - с надеждой сказал Генка.

- Если только высадились, - тихо ответил Виктор.

Генка вздохнул.

Обратный путь друзья шли молча. Чтобы не блуждать в тумане, шли по кромке прибоя, по плотному песку, обнаженному отливом. Под ногами похрустывала морская капуста. Сильно пахло йодистым настоем. На море лежала глухая мгла.

Виктор запнулся о мокрый камень, чуть не упал.

- Ну и туман! С чего он? Утром ясно было.

- А ты помнишь, - вдруг спросил Генка, - как медведи к нам пришли? Тоже туман был.

Виктор улыбнулся. Всего год назад было это, в июле. Они тогда всем классом работали в колхозе. И утром в распадке между гор увидели ребята шишкочобов. Двое лазили по стволу кедрa, третий, побольше, стоял на четвереньках под деревом.

В розовом от восходящего солнца тумане трудно было понять, кто это: городские ли пожаловали в тайгу за шишками, местные ли, но было не время бить шишки, и поэтому Генка тогда крикнул:

- Эй вы, а ну кончайте, а то в милицию!

В ответ послышался глухой рев. Ребята обомлели. Буквально в пяти шагах, за ручьем, была семья медведей. Малыши соскользнули по стволу вниз, и все втроем под недовольное глухое рычание косолапой мамыши скрылись в тумане. Виктор, который до этого спал под открытым небом (он закалялся), в следующую же ночь перебрался к ребятам в сарай.

Генка напомнил милое сердцу время, и у Виктора тоскливо заныло сердце. Вспомнилась школа, колхоз. В классе одни девчонки, ребята все на фронте, четверо уже убиты. А их вот с Генкой судьба закинула в эту дыру. Одно утешение - друг рядом.

Чупахин сидит на нарах. У него разбиты губы, во рту солоно от крови, тупой болью ноет плечо правой руки. Вывихнули, что ли? В голове звенит, будто он только что вынырнул с большой, давящей глубины.

Чупахин смотрит в угол кубрика, где лежит Пенов, накрытый одеялом. Чупахин узнал радиста по руке, детской, судорожно сжатой в кулачок. Из-под одеяла виднеется нога в кальсонине. Рядом валяются его клещи. Чупахин никак не может понять, почему Пенов в кальсонах.

Издаലെка, как из тумана, доносятся слова переводчика, этого толстого немца с одышкой:

- Господин обер-лётнант говорит, если будете молчать, это будет для вас плохо.

Офицер в черном блестящем плаще с бархатным воротником сидит рядом с переводчиком за столом. Из-под плаща виден черный мундир с молниями в петлице. Эсэсовец, наверно.

- Господин обер-лётнант...

"Заладил!" - равнодушно думает Чупахин. У него нет даже злости. Что с них возьмешь, если они не могут понять, что он, Чупахин, не скажет ни слова.

- Скажите, сколько есть человек на посту? Второе: когда есть час радиосвязи со штабом? Третье: сколько кораблей в сутки проходит мимо поста, какие они есть и куда идут?

"Вон чего захотели! А больше ничего не хотите? Сколько кораблей, куда идут и когда. Совсем немножко. Чтобы спокойненько ждать и топить. Совсем немножко захотели узнать", - презрительно думает Чупахин.

Переводчик опять что-то говорит, но Чупахин, не слушая, смотрит на руку Пенова, маленькую, белую. Он был совсем еще мальчишка. Исполнительный, тихий.

Переводчик прослеживает взгляд Чупахина и говорит:

- Мы сожалеем, что погиб ваш радист. Это произошло случайно. Вы умеете работать на рации, знаете код?

"Им нужен код. Как это "случайно" погиб Пенов? Где Костыря? Кто стрелял?"

Офицер щелкает зажигалкой, старшина вздрагивает. Табачный дымок ползет в его сторону. На столе лежит белая блестящая пачка сигарет с черным орлом и фашистской свастикой. Офицер прикуривает и продолжает постреливать зажигалкой, не спуская глаз с Чупахина. Старшине нестерпимо хочется курить, кажется, никогда так не хотелось. Он отводит глаза и смотрит на винтовки в пирамиде. Это Пенова и Костыри. На посту шесть винтовок и автомат. Винтовка Жохова и его, Чупахина, стоят в углу, прислоненные к стене. Скоро вернутся Курбатов и Лыткин. Он им дал по одной обойме. Они, конечно, высадили обоймы в воздух, подавая сигналы потерпевшим. Вернутся - и их тоже схватят. Хана ребятам. Как предупредить их?

Чупахин незаметно косит глазом на часы и холодеет: без пятнадцати двадцать один! Он приказал им вернуться к двадцати одному ноль-ноль.

- Советую отвечать! - голос переводчика крепнет.

"Шкура! Откуда он так знает русский?"

Минутная стрелка неумолимо движется вверх. Мозг лихорадочно работает. Как предупредить? Курбатов и Лыткин сейчас где-то у ручья. Оттуда десять минут ходьбы...

Переводчик что-то говорит, но Чупахин не слушает. Ему сейчас нет никакого дела до слов переводчика и вообще до всех этих немцев, он лихорадочно думает о том, как предупредить ребят, как спасти их! Как?!

- Мне надо выйти, - вдруг говорит Чупахин и как можно спокойнее смотрит в глаза переводчику.

- Куда? Зачем? - Брови немца поднимаются.

- На двор. По нужде.

Переводчик в легком замешательстве. А минутная стрелка все подвигается к вершине циферблата. Чупахин физически ощущает стук часов, не понимая, что это стучит в висках кровь. Сейчас он по-настоящему боится: боится, что ему не разрешат выйти. У него потеют руки, он незаметно вытирает о штаны мокрые ладони.

- Выводите! Потом все скажу, - настаивает Чупахин.

Переводчик что-то говорит офицеру. Обер-лейтенант холодно усмехается и испытующе смотрит на Чупахина. Старшина выдерживает взгляд. Офицер делает знак рукой.

- Идите, - говорит переводчик.

Чупахин встает и, повернувшись, видит теперь все, что было за его спиной. На постели Курбатова сидит немец, и ему перебинтовывают голову, а на его, Чупахина, постели лежит мертвый, прикрытый одеялом. Видны сапоги, отлично подбитые крупными блестящими гвоздями.

Кто это его? Костыря? Пенов?

У дверей на боку лежит Жохов. Руки его связаны, глаза закрыты, но Чупахин чувствует, что Жохов жив, только без сознания. На какое-то мгновение Чупахин задерживается возле друга, его охватывает нежное и горькое чувство, ему хочется сказать, чтобы Жохов держался, когда очнется. Жохову еще многое предстоит. А у Чупахина все уже позади. С особенной ясностью, которая появляется у людей в последние минуты жизни, Чупахин понимает, что вот сейчас он перешагнет порог и уйдет из жизни и отзовется эхо далеко на Иртыше, в маленькой деревеньке, где молится за него еще не старая мать и сидят на полатах пятеро лобастых братишек мал мала меньше.

Его толкают в спину. Он набирает полную грудь воздуха, как в детстве перед прыжком в реку (кто не знал отчаянного ныряльщика и пловца Ваську Чупахина!), и шагает за порог, будто ныряет в холодную плотную воду.

За ним выходят два автоматчика.

Чупахин всматривается в туман. Ребята должны быть где-то тут, недалеко. И Чупахин кричит во всю мочь:

- Не подходите! Здесь немцы! Фашисты! Не подходите! - Это им, ребятам. А теперь немцам: - Гады, сволочи! Ничего не скажу, ничего!

И, обернувшись, бьет ближнего немца в лицо, вкладывая в удар левой руки всю ярость, всю боль, все отчаяние, всю силу.

И тут же в глаза Чупахину брызжет огонь, и он падает навзничь, широко раскинув руки...

* * *

Друзья подходили к посту, когда навстречу выплеснулся крик Чупахина и треск автоматов.

- Что это? - слабо вскрикнул Генка и испуганно схватил Виктора за рукав бушлата.

- Не знаю, - похолодел Виктор.

Из тумана явственно донеслась гортанная чужая речь: возбужденный говор и какие-то резкие приказания.

- Немцы! - опавшим голосом прошелестел Генка.

- Ложись! - выдохнул Виктор.

Они упали за валун.

- Его убили? - задыхаясь спросил Генка.

- Не знаю, - испуганным шепотом ответил Виктор.

"Что делать? - лихорадочно билась в сознании мысль. - Что делать?" Пост захвачен. Это Виктор понял сразу. Но как? Почему?

Сколько пролежали за валуном, они не знали. Им показалось вечность.

В живот что-то больно колело, и Виктор не сразу сообразил, что лежит на своей финке. Она прикреплена в чехле на поясе.

Туман поредел, расплывчато проступили очертания поста. Возле двери стояло несколько немецких матросов. Ребята замерли. "Немцы! Настоящие!"

У ног немцев вроде бы лежал человек. И только когда двое из них схватили этого человека за ноги и потащили в сторону, друзья поняли, что это Василий Чупахин.

- Старшина! - скорее выдохнул, чем сказал, Генка.

Виктор коротко, с отчаянием взглянул на друга. "Убит Чупахин! А где остальные? Пенев? Костыря? Жохов? Что с ними? И почему здесь немцы? Откуда?.."

Мозг работал лихорадочно и впустую. В сознании никак не укладывалось, что товарищей уже нет в живых. Было ясно одно: пост захвачен!

Немцы вошли в пост.

Возле дверей осталось двое. Вдруг один из них двинулся прямо на ребят. У Виктора остановилось сердце. Рядом, судорожно втянув воздух, перестал дышать Генка.

Не доходя до ребят, немец свернул за валун, на ходу снимая с шеи автомат. Второй немец что-то крикнул вдогонку. Совсем рядом, за валуном, первый ответил:

- Гут.

Последовала длинная фраза, которую ребята не поняли. Немец у дверей захохотал и вошел в пост. За валуном раздалось мурлыканье, кряхтенье и снова довольное мурлыканье. У поста было безлюдно.

Дальше Виктор действовал как во сне. Безмолвно встал, медленно вытащил из ножен финку и тихо шагнул к немцу за валун. Генка, как тень, двинулся за ним.

Виктор хорошо видел врага со спины, но главное - это автомат. Он чернел на низком плоском камне в стороне от сидевшего на корточках. Сердце бешено колотилось в горле, не давало дышать. Почти теряя сознание от страха и напряжения, Виктор сделал еще два бесшумных медленных шага и неслышно взял оружие.

Немец уже вставал, когда перед ним вырос Виктор.

- Хенде хох! - торопливо, западающим от страха шепотом приказал Виктор. - Пикнешь - капут тебе! - И неуверенно тыкал автоматом ему в живот.

У немца выкатились глаза, он ошарашенно повел взглядом по сторонам, помычал и вдруг сдавленно вскрикнул, но Генка тут же зажал ему рот ладонью. Виктор более решительно нажал автоматом в живот.

- Молчи, гад! Пошли! Ком! - лихорадочно подыскивал Виктор слова из скудного запаса знаний по немецкому языку. - Бистро, бистро! - коверкал он слово, считая, что так немец поймет лучше.

- Шнель, шнель! - шептал и Генка, тыча врага незаряженной винтовкой.

Толкая немца автоматом, со страхом оглядываясь на дверь поста, повели его прочь, на восток. Он шел, держа руками штаны, так и не успев их застегнуть...

- Куда мы его? - задыхаясь от волнения, спросил Генка, когда отошли от поста.

На этот вопрос Виктор ответить не мог. Взять-то взяли, а что с ним делать?

- Куда-нибудь подальше, - оглядываясь Виктор на пост, уже невидимый в тумане.

- Ага, - согласился Генка.

- А ну, ком! - Виктор ткнул пленного автоматом. - Иди, иди!

* * *

Жохов почувствовал, как в лицо ему плеснули водой. Он открыл глаза и первое мгновение не понимал, что с ним, и почему такая тяжкая боль в голове, и почему прямо

перед глазами сапоги странной и непривычной формы: короткие широкие голенища, в одном из них торчал рожковый автоматный магазин. Когда пришла догадка, его кинуло в жар. Пересилив боль, он поднял голову и обвел взглядом кубрик. Немцы молча смотрели на него. Жохов еще раз оглядел кубрик в надежде увидеть кого-нибудь из друзей, но кругом были одни враги. Двое из них подняли его, развязали руки и посадили на табуретку против стола, за которым сидели офицер и какой-то толстый человек, вдруг заговоривший по-русски.

- Мы надеемся, ты будешь благоразумнее, чем твои товарищи, и мы сохраним тебе жизнь.

Жохов молча посмотрел на переводчика, тот повысил голос:

- Где код у радиста?

Голова, налитая свинцовой болью, клонилась сама собою. Он застонал. Офицер что-то сказал, и Жохову подали кружку воды. Он сразу узнал кружку Костыри. На ней Мишка выбил гвоздем узорчик: якорь, солнце, цепь и надпись: "Одесса".

После воды стало легче.

- Закуривай, - предложил переводчик и сунул сигарету Жохову в рот. Подошел офицер, щелкнул зажигалкой в виде маленького пистолета. Из дула вырвался огонек.

Жохов почувствовал, что офицер что-то задумал, и внутренне весь напрягся. Офицер, храня презрительную улыбку на губах, поводит огоньком зажигалки вокруг сигареты и поднес огонек под подбородок матросу. Резкая боль пронзила подбородок. Жохов невольно отшатнулся. Но удар в затылок кинул его снова на огонь. От боли из глаз сами собою покатались слезы. Офицер усмехнулся.

Переводчик снова повторил вопрос о коде, о кораблях, о позывных штаба, о волне, на которой работает рация.

Жохов молчал. Он ни о чем не думал, он ждал - когда конец. В том, что конец для него близок, он не сомневался. Ведь он им ничего не скажет, и они убьют его.

- Говори! - процедил сквозь зубы переводчик.

Жохова держали двое. Офицер поднес зажигалку к его носу, и дикая боль опять пронзила голову. Запахло паленым мясом.

И тогда Жохов встал. Встал вместе с двумя повисшими на нем немцами и пошел на отступающих перед ним переводчика и офицера. Как всякий физически сильный человек, он был терпелив, но теперь рассвирепел, и ничто и никто не мог его остановить. На него кинулось несколько человек. Матрос разбросал их. Переводчик отскочил в сторону и заслонился рукой. Офицер, побледнев и сузив глаза, выхватил пистолет. Жохов пошел на него. Офицер поднял пистолет. В этот момент тяжелый удар в голову вырвал у Жохова опору из-под ног, и он, потеряв сознание, рухнул на пол.

Офицер приказал оттащить Жохова в угол и, холодно усмехаясь, сказал переводчику, что с этим русским придется повозиться, но он должен заговорить во что бы то ни стало...

* * *

Они шли всю ночь.

Утром, когда рассеялась сумеречная мгла ночи, ребята разглядели пленного. Среднего роста, черный. Не белокурая бестия, не с водянистыми голубыми глазами, какими изображают немцев на плакатах, а черный, как грач, и кареглазый. Снять с него форму - сойдет за сибиряка, волжанина или украинца. Молодой еще. И все же это немец. Враг.

Только теперь друзья догадались обыскать пленного. Из широких коротких голенищ вытащили два запасных рожковых магазина для автомата.

В карманах нашли пачку галет, фотокарточки, матросскую книжку и начатую пачку сигарет. С пояса сняли фляжку, в ней был шнапс.

Виктор смотрел на худощавое, осыпанное испариной лицо немца, на его мокрые, повисшие косичками волосы и неестественно зеркальные после бессонной ночи глаза и видел, что тот нервно вздрагивает. Виктор почувствовал, как и сам он смертельно устал от проделанного пути, от нервного напряжения и пережитого страха. Он закрыл глаза, но тут же заставил себя открыть их и снова увидел пленного, Генку, белесую накипь неба, тусклую равнину сквозной тундры. Он отер пот со лба и со вздохом сказал:

- Надо узнать, откуда они тут появились. Попробуй, ты лучше шпрехаешь по-немецки.

- Кто ты? - спросил Генка. - Вэр ист ду?

И для убедительности повторил по-русски:

- Кто есть ты?

Немец молчал.

- Не хочет отвечать.

- Сейчас захочет, - Виктор выстрелил над головой немца. Пленный побледнел, глаза его округлились. - Давай спрашивай.

- Вэр ист ду? - спросил Генка, а Виктор выразительно повел автоматом.

Немец быстро-быстро залопотал.

- Чего он? - Виктор посмотрел на друга.

- Непонятно что-то, - пожал плечами Генка.

Пленный прислушивался к разговору.

- Может, он по-русски понимает? - насторожился Виктор. - Понимаешь по-русски, нет?

Пленный смотрел на ребят, и в глазах его был немой вопрос, усилие понять, чего хотят от него.

- Шпрехен зи русиш? - спросил Генка.

- Никс, - отрицательно мотнул головой немец.

- Вэр ист ду? - с расстановкой спросил Генка, тщательно выговаривая слова. Виктор поднял автомат.

Немец, косясь на автомат, что-то ответил, жестикулируя и показывая на море.

- Чего он? Ты что-нибудь понял?

- Кажется, с подводной лодки. - Генка вспоминающе морщил лоб. Зее - море. Унтерзеебот - подводная лодка.

- Зее? - Генка показал на море. - Унтерзеебот?

- Я-я, - закивал немец.

- Ну точно, - Генка посмотрел на друга. - С подводной лодки. Транспорт они, наверно, потопили.

- А как же мы ее не заметили?

- А туман.

- Туман к вечеру начался, днем-то ясно было.

- Днем-то они нас в перископ рассматривали, а в туман и полезли.

Это походило на правду.

Виктор держал автомат в руках, наведя ствол на пленного. Тот выжидательно стоял перед грозным русским. Но если бы он мог взглянуть под опущенные ресницы русского матроса, то увидел бы в его глазах совсем не жестокость и ненависть, а самую что ни на есть мальчишескую растерянность. Сейчас Виктор совершенно не знал, что делать с этим проклятым немцем и что делать вообще.

- Спроси, где ребята, - сказал Виктор, стараясь вопросами оттянуть время, когда придется все-таки принимать какое-то решение.

- Наши, русиш, пух, пух? Шисэн? - показывая на пальцах, как стреляют, спросил Генка.

- Я-я, - почему-то обрадовался немец.

- Что "я-я"? - побледнел Генка. - Где наши? Во ист русиш маринен?

Немец внимательно выслушал, понял вопрос и что-то долго и непонятно говорил. Но по жестикуляции друзья поняли, что кто-то убит.

- Врешь! - закричал Генка. - Не может быть? Как это!

Но выражение лица пленного говорило, что это правда.

- Убиты? Тотен? Русиш? - переспросил Генка в надежде, что немец просто не понял вопроса и несет ересь.

- Я, - кивнул пленный и отвел глаза.

Генка потерянно взглянул на друга и горько прошептал:

- Неужели правда, Витя?

Оглушенный известием, Виктор тупо смотрел на фашиста. Убили ребят! Может, вот этот и убил. Взял вот просто так и убил.

- Спроси у него, он убил или нет. Если он, я убью его.

На лице Виктора проступило жестокое и решительное выражение.

Генка испуганно округлил глаза.

- Ты что? Как убьешь?

- А так!

Виктор вскинул автомат. Немец понял, что русский решился на что-то серьезное, и весь напряжился, кровь отлила от его лица.

- Спрашивай! - яростным шепотом процедил сквозь зубы Виктор.

- Ты брось, Витька, брось! - испуганно повысил голос Генка. - Не имеешь права! Он без оружия. Он пленный. Не имеешь права.

Генка неумело загородил собою немца.

- Он ребят убил! - крикнул Виктор, чувствуя, как от ненависти удушливая спазма сдавливает горло.

- Да откуда ты взял, что он? - в отчаянии говорил Генка.

- Спрашивай, а то я его...

Генка повернулся к мертвенно бледному немцу.

- Ты... ду... стрелял? Шисэн? Пух, пух, ин русиш? - показывал на пальцах Генка.

- Никс, никс! - горячо залопотал немец.

Жестикулируя, он торопливо и страстно что-то говорил, но ребята поняли одно: участия в схватке он не принимал, он просто гребец на шлюпке.

- Вот видишь, не он, - облегченно сказал Генка.

- Его счастье. - Виктор медленно опустил автомат. Накаленный ненавистью голос сорвался. - Его счастье!..

Генка тяжело вздохнул.

- Что делать-то, Витя?

- Не знаю, - тихо сознался Виктор. - Надо на пост вернуться.

- Ага, - обрадованно кивнул Генка. - Может, немцы ушли, а наши остались.

Виктор горько умехнулся.

- Живыми их не оставят.

- Да, - как эхо, отозвался Генка. - А может, живые?

- Пошли разведаем.

- Пошли. А он? - Генка глазами показал на пленного.

- Его свяжем и рот заткнем, пусть лежит.

Ребята связали немцу ноги и руки брезентовыми ремнями от своих брюк, в рот заткнули кляп - его же, немца, носовой платок.

* * *

Они подобрались к посту со стороны приземистой сопки, которая являлась началом невысокого хребта, тянувшегося на юг по тундре. Выползли на плоскую вершину сопки и залегли за камнями среди мелкого и редкого ивняка. Пост был как на ладони. Они смотрели на свое недавнее жилище, и им было дико от мысли, что оно занято немцами и они не могут туда вернуться.

Вокруг поста были немцы. Сидели, ходили, курили, хохотали - вели себя как хозяева. Их было много.

- Сколько их! - прошептал Генка.

Виктор молчал.

- Ребят никого не видно, - опять прошептал Генка.

Виктор, не отвечая, смотрел на место, где обычно они рубили дрова.

Там что-то лежало. Сначала он не понял ЧТО. Но, взглядевшись, увидел - там лежали ТРОЕ.

- Гляди, - сдавленным голосом прохрипел он.

Но Генка уже и сам увидел и догадался, что ЭТО.

Но кто именно? Кто, кроме Чупахина? Жохов? Пенев? Костыря? Трое. Значит, кто-то еще жив! Кто? Где он? Может, там, внутри поста? А может, тоже убитый, но где-то в другом месте.

Внезапно друзья увидели, как справа по берегу, как раз оттуда, где проходили они ночью, возвращается группа немцев.

- Нас ищут, - догадался Виктор.

- Кого? - не понял Генка.

- Нас с тобой и немца.

- Нас? - повторил Генка. Он все еще никак не мог до конца осознать, что происходит.

Виктор понимал всю бессмысленность и все бессилие своего положения. Товарищи убиты, трое лежат возле поста, неизвестно, жив ли четвертый, немцев много, и схватка будет неравной. И все же он решился, и от этой решимости враз отмерзли пальцы на ногах.

- Сейчас я им сыпану! - сквозь зубы процедил Виктор и выдвинул автомат между камней.
- Сейчас я им!..

Никогда в жизни он не стрелял по живому человеку и вообще по живому существу. Один только раз, в детстве, был он на охоте с отцом и подбил чирка из малопульки. Подранка принесла собака. И чирок умер у него в руках. Когда маленький Витя услышал, как перестало биться сердце птицы, его охватил ужас. Он тогда осознал, ощутил всем своим существом, что такое смерть, и понял свою причастность к ней. Он был потрясен своим открытием и с тех пор никогда не поднимал руку на живое существо. Теперь же надо было стрелять по людям. НАДО! Виктор это понимал, но никак не мог нажать на спусковой крючок автомата.

- Сейчас я им!.. - продолжал шептать Виктор и никак не мог преодолеть ту внутреннюю грань, которая была барьером между жизнью и смертью и не давала стрелять. - Сейчас я им!..

Виктор зажмурил глаза и нажал на курок. Оглушающе гулко ударил автомат и затрясся в руках непокорно и незнакомо. Виктор широко раскрыл глаза и повел стволом слева направо. Стараясь удержать автомат в руках, он бил и бил без передыху, пока не высадил весь магазин. И опомнился только тогда, когда автомат смолк. Навалилась страшная тишина. Руки дрожали от напряжения, по лицу лил горячий пот.

Немцы ответили яростным огнем. Из валунов, за которыми лежали ребята, полетели искры. Виктор лихорадочно перезаряжал автомат и никак не мог втолкнуть рожок в гнездо.

- Бей! - горячим шепотом молил Генка. - Бей!

- Перекос! - стонал в отчаянии Виктор.

Чужое, незнакомое оружие не подчинялось, и Виктор, продолжая втискивать рожок в гнездо, бросал испуганные взгляды на немцев.

- Сюда бегут! - крикнул Генка.

Виктор и сам видел, как немцы продвигались к сопке короткими перебежками и стреляли на ходу. Чиркнув длинным голубым огнем, рикошетила пуля от камней и тонко свистела. Виктор даже не сразу сообразил, что этот нежный звук издают пули. А когда понял, его продрал по спине мороз. Пули! И это стреляют в него! В него!

- Давай назад! - крикнул Виктор, поняв, что автомат ему не зарядить, и первым стал отползать от валунов.

Потом, задышавшись, они бежали по склону сопки в ложбину, бежали по мелким каменным плиткам, по щебенке, обдирались о низкий жесткий ивняк. Виктор больно ударился ногой о камень, свалился и на спине заскользил вниз. Генка бежал рядом и тащил свою незаряженную винтовку, сейчас совершенно бесполезную.

Они убежали.

Пленного нашли в той же лощине, где и оставили, но на другом месте. Форма на нем была смята, ремни на руках и ногах хранили следы потертости. Он пробовал перетереть их об острые камни. На ребят немец глянул озверелыми, налитыми кровью глазами.

- Развяжем ему ноги - и ходу! - торопливо сказал Виктор, стараясь распутать затянувшиеся узлы ремней. - Помоги!

Вдвоем кое-как развязали немцу ноги.

- Пошли! Ком!

- А куда, Витя?

- Подальше. Пока они нас не накрыли. Ком!

Опасливо оглядываясь - нет ли погони! - торопливо двинулись в глубь тундры. Немец удивительно покорно спешил рядом.

- А я видел, двоих ты срезал, - сказал Генка, шагая позади с двумя винтовками.

Виктор не ответил. Он проклинал себя, что так не вовремя у него заело оружие. Теперь, когда бой позади, он совершенно легко и свободно вставил рожок в гнездо автомата. Мог бы еще положить их кучу! Если бы еще были патроны, они бы с Генкой расквитались с ними за ребят!

К обеду сделали привал.

Тяжело дыша, все трое рухнули на влажный мягкий мох, будто в перину. Долго лежали молча.

- Двоих точно ты положил, - опять сказал Генка. - Один на спину упал, а другой вперед ткнулся.

Виктор не видел этого, но поверил Генке. И странно, не чувствовал никакого угрызения совести, не ощущал того чувства, которое было в детстве, когда убил чирка. Он сейчас думал о другом, он думал об убитых товарищах и об одном живом, о том, что кто бы он ни был - Пенев, Костыря, Жохов, - они с Генкой уже ничем ему не могут помочь.

Виктор стряхнул с себя усталость и поднялся, внимательно осмотрел ровную в этом месте тундру. Ничего подозрительного не обнаружил.

- Давай порубаем немного, - предложил он.

- Давай, - обрадовался Генка. - А то живот подвело. Со вчерашнего дня не ели.

Виктор вытащил немецкие галеты.

- Рубанем - и дальше. На метеостанцию надо идти. - Виктор кивнул на немца. - Там его допросят.

- Ага, - оживился Генка. - Точно, на метеостанцию. Там ученые, они языки знают. И в штаб оттуда сообщим, чтобы лодку ихнюю накрыли.

- Еду надо разделить на все дни. - Виктор оглядел скудные запасы пищи. - Сколько придется идти?

- Два дня, - не то спросил, не то утвердил Генка.

- Нет, - не согласился Виктор и прикинул: - Дня четыре. Больше ста километров. В общем, делим галеты на пять дней. Мало ли что! Запас должен быть.

Генка кивнул.

- На, полгалеты вот. И шнапсу по глотку будем пить. Отпивай - снегом закусишь.

Генка отпил глоток из фляжки, задохнулся от крепости, торопливо заел снегом, еще сохранившимся в низинках.

Виктор оглянулся на пленного. Немец за этот переход обвял, ссутулился и сидел, обреченно вперив взгляд под ноги. Видимо, он понял всю безнадежность своего положения и покорился судьбе.

- Как по-ихнему жрать? - спросил Виктор.

- Фрэссен, кажется.

- Ага, подходит, - одобрил слово Виктор и подал немцу полгалеты.

- На! Жри! Фрэссен!

Не спуская глаз с автомата, немец неуверенно взял.

- Кто же из ребят живой остался? - спросил Генка и с болью посмотрел в сторону поста.

Виктор нахмурился. Было ясно, что немцы захватили пост именно затем, чтобы узнать, сколько кораблей проходит мимо, когда и куда они идут. На этих кораблях ценный груз, который посылают нам союзники. Идут сюда и с востока с углем, лесом, военным грузом. Доставляют все, что необходимо флоту и армии. Надо скорее довести немца до метеостанции, он там расскажет, откуда появилась подводная лодка. Теперь ясно, что транспорт потопила она. Может быть, она и не одна, может, еще шныряют немецкие подводные лодки по нашему морю. С метеостанции передадут по радио в штаб, и тогда крышка им, этим лодкам. Наши кокнут их.

Виктор посмотрел на немца. Они встретились глазами, и Виктора прошиб озноб - он наткнулся на что-то острое и затаенное во взгляде немца. Пленный отвел глаза.

Поели и двинулись на восток, где в тундре стояла метеостанция, с которой иногда по радиации разговаривал Пенюв.

* * *

Третьи сутки. Сколько прошли и сколько еще идти, неизвестно.

Тундра. Грбовая тишь. Порою доносит с моря тусклый крик чайки.

Идут по кромке прибоья, по утрамбованному морем песку. Некрупная зыбь взбегает на берег и, прошипев, как газированная вода, уходит сквозь песок. Когда начинается прилив, приходится отступить от берега и шагать по кочковатой болотистой земле.

Тундра. Бескрайняя враждебная пустыня. Низкие пепельные облака не пропускают солнца. Сыро. Зябко. Эта жестокая земля держит в своей груди вечный холод.

Виктор опустил на обломок камня и бессильно уронил руки.

- Не могу больше.

Тяжело дыша, Генка погладил его по плечу.

- Надо идти, Витя. И его вести.

Оба посмотрели на пленного. С провалившимися глазами, с черными запекшимися губами, изможденный, немец сидел на камне.

- Вставай, Витя.

Виктор отрицательно покачал головой. Сердце давил страх перед неизвестностью, перед этим пронзительным безмолвием. Тишина тундры, наглухо захлестнувшая их, казалось, имеет вес - так была она тяжела и бесконечна.

- Пойдем, - настаивал Генка.

- Не дойти.

Галеты у них кончились. Хотя и делили на пять дней, но не вытерпели, съели раньше. Оставались какие-то крохи. А метеостанции не было, и, когда будет, неизвестно.

- Дойдем, - тяжело дышал Генка. - Должны дойти.

- Чего заладил! - Отчаяние охватило Виктора, и он иступленно закричал: - Ты знаешь, сколько еще идти? Сколько еще километров! Загнемся мы тут! Загнемся!..

Генка ударил его по губам. Виктор захлебнулся словами.

- Замолчи! - тонким голосом крикнул Генка.

Хилый, узенький, со слабой грудью, он был настырный. Он однажды руку держал над свечкой, чтобы доказать свою силу воли. Его потом в больницу возили с ожогом. В пятом классе было это.

- Больно? - Генка извинительно заглядывал в глаза.

- Тебе бы так. - Виктор сплюнул кровь. - Откуда только сила?

- Со злости, наверно, - оправдывался Генка. - Ты уж прости.

- Ладно, - буркнул Виктор, - лучше бы его треснул.

Оба одновременно взглянули на немца, тот выжидательно следил за ними. И Виктор снова уловил в его взгляде затаенную ненависть.

Виктор достал сигареты в малиновой красивой пачке. Эту пачку он отобрал у немца. Закурил и закашлялся.

- Дрянь сигареты! Эрзац! - презрительно и зло сказал он. - И сами немцы - дрянь! Сволочи! Плюгавые гады! Скоро вам всем Сталинград будет! Ферштеен?

По мере того как ругался Виктор, голос его накалялся ненавистью, в сердце накапливалась сила и решимость. Он встал, далеко отшвырнул сигарету и высоким от гнева голосом приказал:

- Пошли! Ком!

* * *

Генку знобило, он никак не мог унять дрожь. Втянув голову в плечи, подняв воротник бушлата и засунув руки в карманы штанов, шагал он с двумя винтовками за плечами.

- Давай костер разведем, - предложил он Виктору. - Теперь они нас не заметят.

Да, теперь можно было и огонь развести, от поста они ушли, пожалуй, на полсотни километров. И уже ясно, что немцы прекратили погоню. Матросы собрали веточек, ржавый прошлогодний мох, жухлую траву. Но ветки оказались сырыми, а трава и мох чадили едким сизым дымом. Генка, сидя на корточках, усердно раздувал огонь, но у него ничего не получалось.

- Бумаги бы, - сказал он, вытирая набежавшие от дыма слезы. - Сразу бы пыхнуло.

- Давай его документами разожжем, - вдруг осенила догадка Виктора.

- Что ты! - воскликнул Генка. - Нельзя. По документам установят, откуда он.

- И так скажет.

- А если не скажет?

- Скажет. Иначе нам не разжечь. Видишь, тлеет только. И бензин в зажигалке кончается.

- Нет, - упрямо покачал головой Генка и принялся снова дуть на чадящую кучу веток. Но сколько ни старался, ничего не получалось, только закашлялся от едкого белого дыма.

- Ну, говорю тебе. Давай документами, - настаивал Виктор. - Сразу загорится.

Он решительно вытащил из кармана документы и начал разрывать по листкам матросскую книжку немца. Пленный молча наблюдал. Виктор разорвал книжку. Остались три фотокарточки. На одной был снят мальчик в форме гитлерюгенда, с барабаном. Он шагал во главе отряда таких же мальчишек. Внизу какая-то надпись чернилами.

- Видал? - недобро повеселел Виктор. - Шагает как!

- Марширен, марширен! Алес фюр Дойчланд! - угрюмо сказал Генка.

Немец насторожился, испытующе и тревожно поглядел на конвоиров.

На другой фотокарточке были пожилой мужчина, сухой и черный, и толстая седая женщина. Мужчина сидел строго выпрямившись, женщина грустно улыбаясь.

- Отец и мать, поди? - сказал Виктор.

- Фатер и мутер? - спросил Генка, показывая фотокарточку немцу.

Тот кивнул.

- Отдадим? - Виктор взглянул на друга.

- Отдадим, - согласился Генка.

- На, - подал Виктор. - Бери, бери!

Немец нерешительно взял и держал фотокарточку в руке, не зная, что с ней делать. Растерянно скользил взглядом по лицам ребят.

На третьей был офицер в форме эсэсовца.

Брудер? Генка ткнул пальцем в фотокарточку.

- Никс, - отрицательно покачал головой немец.

- А кто же тогда? - Виктор прицельно прищурился на немца.

- Никс, - снова сказал тот.

- Ну черт с ним! Все равно сожжем. Сожжем мы его, - сказал Виктор немцу. - Отца с матерью тебе отдали, говори спасибо. А это все сожжем.

Опять посмотрели на мальчишку с барабаном. Наверное, младший брат, а может, сам таким был, гитлерюгендом.

С великим трудом развели костер, угробив на это весь бензин зажигалки и документы немца.

Костер пылал жарко. Они отогревались и не верили в это: до того намерзлись под холодным ветром с моря. Ребята знали, что больше им костра не развести, нечем. И поэтому лезли чуть не в огонь - так хотелось нагреться и запастись теплом на будущее.

Генка задумчиво смотрел на огонь, тонкие брови его были высоко подняты, глаза отрешены, он был где-то там, в другом мире, наверное, дома. Виктор вспомнил, как приходил к ним домой Генка и они сидели с ним перед открытой печной дверцей и читали книги о путешествиях, о пятнадцатилетнем капитане, о сказочных тропических островах. За ставнями выл сибирский буран, а им было тепло и уютно.

Виктор вдруг подумал, что Чупахин тоже любил сидеть у огня, перед открытой дверцей печи, и это было единственное время, когда старшина отмякал, становился добрым и рассказывал о своих братишках...

- Как бы у него узнать, кто живой остался, а? - спросил Генка и мучительно наморщил лоб, вспоминая немецкие слова.

- Спроси, - предложил Виктор.

- А как?

- За что же у тебя "отлично" было по немецкому?

- За чтение.

- За чтение! - передразнил Виктор. - "Зер шлехт" тебе надо, а не "аусгецайхнет". С немцем не можешь поговорить.

- А сам-то ты не учил, что ли! - огрызнулся Генка.

- У меня "мительмейсики" были да "шлехты". А ты же отличник.

- Ну и что, - буркнул Генка и замолчал, угрюмо глядя на огонь.

Виктор подбросил веток, огонь вспыхнул, затрещал. Жар усилился, и еще приятнее стало греть лицо, руки, грудь.

- Сейчас бы Костыря ляпнул что-нибудь для смеха, - невесело улыбнулся Генка.

"Это точно, - подумал Виктор. - "Жоры, рубать компот, он жирный!" орал, бывало, Мишка Костыря, когда дежурил по камбузу".

Как хорошо было на посту! Пенов с оттопыренными ушами, Жохов, пишущий сороковое письмо, этот же Генка, получающий у Чупахина вместо махорки сахар или сгущенное молоко, которое потом съедали все вместе.

А теперь они остались с Генкой вдвоем. И все из-за этих вот! Из-за них! И война из-за них, гадов!

- Ты вот за него заступаешься, - сказал Виктор, - а он сволочь, фашист! Видел карточку, как он там шагает? А кто наших ребят побил! Чупахина!

Генка оторвал взгляд от огня и какое-то время смотрел на Виктора, не понимая, о чем тот говорит.

- И брат - эсэсовец. Наверняка брат. Иначе чего бы он стал его таскать, - продолжал Виктор.

Немец интуитивно понял, о чем речь, и затравленно поглядывал то на Виктора, то на Генку.

- Не все же они такие, - со вздохом ответил Генка. Он с сожалением расстался со своими воспоминаниями. - Есть и у них люди.

- Люди! Какие они люди! - разозлился Виктор. - Убивают всех. В душегубках душат.

- Не все же они такие, - повторил Генка. - И хорошие есть.

- Хорошие! Не верю я этим хорошим. Чего они вечно воют! Вспомни историю. Кто всегда войны начинал? Немцы! С самого Ледового побоища. Ты вот видел пленных: и у нас в Сибири, и под Ярославлем. Работают себе, дома строят, дороги ремонтируют. Кормят их, одевают, никто пальцем не трогает. А они? Жгут в печах, расстреливают, вешают. Ты вот за него заступаешься: пленный - нельзя. А он бы на тебя не посмотрел. Как Чупахина, как ребят! Разве это люди! А сколько народу они угнали в Германию, продают, покупают, как негров раньше. Людьюми торгуют. Это люди?

Генка открыл было рот, но Виктор не дал ему сказать.

- Какие это люди! Они не только против нас, они против всех людей, против всего мира идут. Высшая раса! Великая Германия! Как ты это объяснишь?

Генка что-то хотел сказать, но Виктор снова перебил его:

- погоди! Опять заступаться будешь. Ты мне ответь: почему у них фашисты правят? Значит, чем-то хороши они для немцев.

- Не знаю, - буркнул Генка.

- Вот то-то! Все они заодно. Все одинаковые. И этот тоже. Кокнуть бы его, а мы нянчимся.

Генка молчал. Виктор закурил и долго хмуро смотрел в огонь. Смотрел и Генка и думал. Все, о чем говорил Виктор, беспокоило и Генку. Он и сам не раз задавал себе эти вопросы. Действительно, почему немцы всегда начинают войны? Испокон веков. Каждый раз их побеждают, бьют, разбивают, а они окрепнут - и опять воевать. Он вспомнил отца, который, подняв очки на лоб и близоруко щурясь, держал в руках "Фауста" и говорил: "Поразительно! Удивительно! В этой книге весь дух Германии, все ее величие! И вдруг этот массовый психоз. Технически и философски развитая нация вдруг звереет, теряет человеческий облик и начинает уничтожать себе подобных. Ведь нельзя же все объяснить тем, что Гитлер дал работу, дал кусок хлеба. Видимо, есть что-то еще? А может, ничего нет - просто кусок хлеба? Ведь была же в Германии революция в восемнадцатом году. Есть Тельман. И вдруг этот Гитлер! И массовое безумие: немцы - высшая раса, остальные - рабочий скот! Видимо, нужно время и умы, чтобы все это понять, объяснить. Ведь не могут же все немцы быть фашистами. Это тоже противоестественно. Не может этого быть". И вправду, ведь умный народ, вон сколько у них знаменитых ученых, изобретателей, писателей. И почему все они фашистам подчиняются? Генка видел немецкий киножурнал, где Гитлер выступал на стадионе. Весь стадион ревел от восторга.

И все же никак нельзя убивать пленного. Тут уж Виктор совершенно не прав. Нельзя убивать пленных, нельзя - и все.

* * *

На четвертые сутки, задремав на ходу, Генка свалился с невысокого берега и, пролетев метра два, упал на скользкий обнаженный отливом камень. Виктор сначала усмехнулся, но, увидев, что Генка лежит и не шевелится, поспешил к нему.

Генка лежал, закрыв глаза, и сильная бледность покрывала его лицо.

- Ты чего, уснул? Как тебя угораздило?

Генка попытался встать, ойкнул и зажмурился.

- Нога вот...

- Вывихнул? - встревожился Виктор.

- Не знаю, - морщился от боли Генка.

- Дай погляжу.

Виктор стал стягивать сапог, Генка вскрикнул:

- Стой! Больно очень!

- Давай разрежем сапог, - предложил Виктор.

Генка слабо кивнул.

Виктор вспорол финкой голенище. Когда задрал штанину, увидел, что тонкая до жалости Генкина нога сломана. Острый конец кости пропорол кожу, и вокруг расплылось красное пятно. Виктор с ужасом глядел на ногу. Он вдруг осознал всю безвыходность их положения. Как же теперь идти? Что делать?

- Надо шины наложить, - с трудом сказал Генка. Белое лицо его было покрыто крупным потом.

- Ты полежи, потерпи немного, я сейчас, - обрадовался подсказке Виктор и окинул взглядом тундру. Неподалеку видны были заросли ползучей карликовой березы.

- А ну, ком! - приказал он немцу. - Шнель!

Виктор и немец выбрали четыре березки попрямее. Виктор с трудом вырубил деревца, которые, несмотря на свою низкорослость и малую толщину, оказались очень крепкими. Красноватые, изогнутые березки были как из железа.

Когда вернулись, Генка лежал с почерневшим лицом и тихо стонал.

- Давай, Гена. - Виктор опустился перед другом на колени. Внутренне содрогаясь, он неуверенно взялся за Генкину ногу. Генка вскрикнул и потерял сознание.

- Воды, воды давай! - закричал Виктор немцу. - Вассер!

- Я, я! Айн момент! - с готовностью отозвался пленный и поспешил к морю. Зачерпнул в пилотку и, шумно дыша и оступаясь на мокрых камнях, принес воды.

Виктор брызнул в лицо Генке. Генка открыл глаза, слабая тень измученной улыбки скользнула по запекшимся губам.

- Ты... вот что, - вдруг сообразил Виктор. - Ты выпей, легче будет. - Протянул фляжку.

Он где-то читал, что раньше солдатам вместо наркоза давали перед операцией стакан водки.

Генка глотнул, сморщился. Его чуть не вырвало.

- Пей еще.

Генка отрицательно покачал головой.

- Привязывай. - Он зажмурил глаза и прикусил нижнюю губу.

Разорванной на полосы своею тельняшкой Виктор с помощью немца туго прибинтовал самодельные шины к Генкиной ноге. Генка хрипло и тяжело дышал. Голова его на тонкой шее бессильно перекачивалась по земле.

- Все, Гена, все, - успокаивал Виктор. - Выпей вот еще.

Генка с усилием открыл белые от боли глаза, длинно, со стоном выдохнул:

- Не-ет...

- Ну как? Выдюжишь теперь?

Генка в знак согласия прикрыл веки.

Наступал прилив. Виктор и немец с большим трудом подняли Генку на обрывистый, усеянный валунами берег.

Только теперь Виктор почувствовал, как страшно устал он, что по лицу его бежит пот и руки дрожат. Он прислонился спиной к валуну и смотрел в серую даль тундры, на небо цвета разбавленного молока, на холодную темную, с металлическим отливом воду. И на суше, и на море - все было пустынным и неприятным. Глухая тоска сжала сердце. Виктор закрыл глаза, силясь отогнать от себя страшную действительность. Невыносимо захотелось в алтайскую, залитую солнцем степь, повалиться в душистое разнотравье, раскинуть руки и глядеть в синее чистое небо и ни о чем, совсем ни о чем не думать, не принимать никаких решений, ни за что не отвечать.

Виктор открыл глаза: серое размытое пространство лежало перед ним. Усилием воли он заставил себя встать - надо было жить и действовать.

"Что же делать? Что делать? Как теперь идти? Нести его? Далеко не унесем. И этого немца надо быстрее допросить".

Виктор посмотрел на пленного, тот сидел, прислонившись спиной к валуну, и, глядя в землю, о чем-то думал. На заросших щетиной скулах ходили желваки. О чем-то крепко задумался немец.

"Что же делать?" - снова спросил себя Виктор. И вдруг его осенило. Он вспомнил, как в колхозе, на покосе, делали они волокуши из березок и на этих волокушах возили копны к стогу. Надо сделать такую волокушу! Не носилки, а волокушу. На нее уложить Генку и тащить. Это же легче, чем на носилках нести, да и не сделать носилок из этих карликовых березок.

Виктор окинул взглядом заросли низкорослых берез на холме. Сейчас они с немцем изладят волокушу - и вперед!

- Ауф! - сказал Виктор.

Немец поднялся и стоял, ожидая приказа.

- Пойдем вон в березник, - Виктор указал рукой, - нарубим веток, сделаем волокушу. Ферштеен? Ком!

Виктор срезал финкой березки, а немец складывал их в кучу. "Топор бы сейчас, быстро бы дело пошло", - Виктор вспомнил охотничий топорик отца, маленький, ладный, в чехле. Виктор любил носить тот топорик, когда отец брал сына с собой на охоту.

Виктор упрел, а березок было нарезано еще мало. Мешал и автомат на спине, вис свинцовой тяжестью.

- Давай-ка порежь немного, - сказал Виктор и кинул немцу финку.

- Яволь, - глухо ответил немец, поняв, чего хочет от него Виктор, подобрал финку и начал резать деревцо.

А Виктор снял автомат, положил его рядом и расслабился, прислонившись к валуну спиной. Отдыхая всем телом, глядел в серую хмурую даль тундры, бескрайние просторы которой надо было преодолеть.

Виктор прикрыл воспаленные глаза, слушая шорох немца, срезавшего березку. На мгновение он задремал, но тут же очнулся от внезапно наступившей тишины. Еще не осознав до конца всего, Виктор инстинктивно схватил автомат, но тотчас тяжелый удар вышиб оружие из его рук. Немец навалился на Виктора и подмял под себя. Виктор попытался вывернуться, и они покатались по отлогому откосу, по камням, по щебенке, по жесткому карликовому ивняку. Задыхаясь, Виктор старался вырваться из цепких и сильных рук немца. В топкой хляби лощины, куда они скатились, немец оказался наверху. Виктор лежал на спине, а немец, придавив его своею тяжестью, занес финку. Виктор перехватил его руку, и тусклое жало застыло перед глазами.

Немец сжал воротник бушлата, и Виктор задышался, перед глазами шли красные круги. Оба хрипели: у немца силы тоже были на исходе. Понимая, что если вот сейчас, сию секунду, не вырвется, то конец, Виктор напруг остатки сил, забрыкался, нанося ногами удары вслепую, и вдруг почувствовал, как расслабилась рука врага на горле. Он вывернулся из-под немца. Тот, расширив глаза, из которых ручьями текли слезы, согнулся и мычал. Grimаса боли перекосила его заросшее щетиной лицо. Виктор вскочил на колени и задом быстро отполз подальше от врага, а тот все корчился и стонал.

Задыхаясь от испуга и напряжения, Виктор на четвереньках, боясь потерять секунду на то, чтобы встать на ноги, бросился к автомату. Вскочил на ноги. Почувствовал, как они дрожат и как бешено стучит сердце.

Оскользясь по сыпучему плитняку, он спустился вниз, поднял финку из грязи, обтер ее о штанину и вложил в ножны.

- Хенде хох! - сказал он и не узнал своего голоса, хриплого и сдавленного.

Немец не поднимался.

Виктор не сразу понял, что когда он забрыкался, то попал немцу коленкой в пах. И это спасло Виктора.

- Хенде хох, сволочь! - заорал он и вскинул автомат. - Ауф! Встать!

Сипло дыша, немец поднялся и стоял, качаясь и полуподняв руки над головой, глядел исподлобья, в глазах его был страх.

- Вмазать бы тебе сейчас, сволочь! - сказал Виктор и впервые в жизни выругался.

- Вмазать бы тебе сейчас! - повторил он. - Да нельзя, гад! Ком!

Немец нерешительно переступил с ноги на ногу.

- Шнель, шнель! - прикрикнул Виктор.

Немец стал взбираться на косогор.

- Будем делать волокушу, - сказал Виктор наверху. - Опустите руки. Работать надо. Арбайт!

Он показал немцу, как надо делать волокушу.

- И смотри! Если кинешься, то конец тебе. Капут! Ферштеен? - Виктор выразительно потряс автоматом.

Немец принялся плести из ветвей волокушу. Виктор рубил ветки, не спуская настороженных глаз с немца.

Кончив резать ветки, Виктор долго глядел на тускло блестящий нож. Его прошиб холодный пот от мысли, что вот от этой острой стали мог бы умереть. "Если он шагнет в сторону - конец ему", - твердо решил Виктор о немце.

Они сделали волокушу. Угробили на это почти целый день. Из поясных ремней смастерили постромки.

- Что у него тут написано? - спросил Виктор, показывая Генке тускло блестящую бляху немецкого ремня. На ней были вытиснены какие-то слова и орел.

- "Гот мит унс", - тихо сказал Генка. - По-ихнему, "с нами бог".

- С ними бог! - усмехнулся Виктор, окидывая глазами пленного. Он хорошо помнил взгляд немца, когда у того в руках была финка.

Генку положили на волокушу.

- Надевай винтовки! - приказал Виктор и подал немцу незаряженные винтовки. - Тащи! И давай впрягайся.

Сам первым взялся за ремень. Сделали несколько шагов, остановились отдышаться.

- Бросьте меня, - слабо подал голос Генка.

- Ты что? В своем уме?

- Со мной не дойдете, а его надо быстрее доставить.

- И его доставим, и тебя. Он же тебя и притащит. Он здоровый.

- Не дойти со мной.

- Ты соображаешь, что говоришь? Замолчи! - прикрикнул Виктор.

Генка разговоров больше не заводил. Шли зарослями ползучего жесткого ивняка, с мелкими и твердыми, будто из жести, листочками. Сучья, цепляясь за штаны, мешали идти. Генке приходилось совсем плохо: ветки царапали ему лицо.

Кончались заросли кустарника, начиналось или болото, пятнистое, как шкура леопарда, с белой травой пушицей, или мелкие и острые камни.

Обессиленные, остановились на ночлег.

Внезапно ахнул гром, расколосось небо, и длинная молния осветила тундру неестественно белым светом. Резко похолодало, и начался дождь со снегом. Колючая крупа обжигаете секла лицо, руки, забивалась за ворот бушлата.

Снежная буря разгулялась по тундре. Люди плотно прижались друг к другу, стараясь сохранить остатки тепла. Холод сковывал тело, коченели руки. "Неужели конец? Только бы не уснуть! Только не уснуть!" - думал Виктор, чувствуя, как обманчивое тепло поднимается откуда-то с ног, разливается по телу, парализует волю, усыпляет.

- Ген, ты не спи. Слышь, спать нельзя - загнемся.

- Не сплю, - доносило полухрип-полустон, глухо, как из могилы.

Виктор заставлял себя подниматься, прыгал, приседал, хлопал руками по одеревенелым бокам. Ветер, прошитый колючим снегом, бил наотмашь по лицу, валил с ног. Буран гудел, все больше и больше набирая злую силу. Виктор поднимал немца, и они боролись, стараясь разогреться. Виктор чувствовал в чужих руках враждебность, чувствовал, что немец сильнее, и это пугало. Немного разогнав кровь и отглотнув из фляжки, они падали рядом с Генкой, прижимались к нему.

Сейчас бы костер, капельку огня, глоток горячей воды!

Долгим, нескончаемым кошмаром тянулась пурга. Время замерло над ними, оставив их лицом к лицу с разбушевавшейся стихией, наглухо замкнув в ледовом хаосе.

Когда кончилась вьюга, они не узнали тундру. Снежная пустыня простиралась перед ними. Пасмурное небо набухло свинцовой тяжестью и высевало хрусткую колкую изморозь.

Виктор встал, с трудом распрямил заочневшее тело. Отгреб засыпанного снегом Генку.

- Жив?

Генка медленно поднял синие веки, равнодушно и как бы из далека поглядел на друга.

- На, хлебни. - Виктор подал фляжку.

Генка слабо повел головой и закрыл глаза. У него, как у покойника, заострилось обескровленное лицо. Виктор испугался: "Умрет!"

- Слышь, Ген, хлебни! - затряс он друга. - На! Хлебни!

Поднес фляжку к почерневшим Генкиным губам, насильно влил глоток.

- На еще!

Генка глотнул еще. Виктор начал растирать ему руки снегом.

- Во-от, - нараспев говорил Виктор. - Во-от, сейчас...

А что "во", что "сейчас", и сам не знал.

Генка медленно оживал.

- А как он? - повел глазами Генка.

Только теперь Виктор вспомнил о немце.

- Вставай! - приказал Виктор. - Ауфштейн!

Немец попытался встать, но упал.

Синие, как и у Генки, веки его были закрыты, черная щетина клочьями торчала на провалившихся щеках.

- О-о, майн гот! - выдохнул облачко пара немец.

- "Майн гот, майн гот"! - озлился Виктор. - Хоть бы ты сдох!

- Дай ему выпить, - донесся шепот Генки.

- Айн глоток только. - Виктор подал немцу флягу и показал один палец. - Айн! Ферштеен?

Немец протянул скрюченные пальцы и не мог взять фляжку. Застонал.

- Ну, навязался ты на нашу голову! - процедил сквозь зубы Виктор. Давай руки! Хенде давай! Гебен хенде.

Немец протянул руки, и Виктор стал яростно растирать их снегом. Немец стонал, морщился, по провалившимся щекам текли мутные слезы.

- О-о! О майн гот, майн гот, - повторял он хрипло. И обреченным взглядом скользил по безжизненным снегам.

- На! Пей! - снова подал фляжку Виктор. - Айн глоток. Да поменьше глотай.

- Яволь, - прохрипел немец.

Закоченевшими пальцами немец взял фляжку, судорожно глотнул и умоляюще уставился на Виктора. Виктор смотрел на осунувшееся черное лицо пленного, на острый, в щетине кадык, на порванные ветром, кровоточащие губы, и непрошенная жалость шевельнулась в груди.

- Еще айн. - Виктор рассердился на свою слабость. - Нох айн! крикнул он на замешкавшегося немца. Немец торопливо отглотнул еще.

- Данке шён! - прохрипел благодарно.

- Вставай, вставай! Ауфштейн!

Немец с трудом поднялся.

Одежда на нем, пока он вставал, скрипела. На Викторе и Генке была такая же. Пальцы у Виктора совсем закоченели. Он дышал на них, совал в рот - не помогало. Сообразил сунуть их себе в штаны, между ног. И держал там, пока их не начало покалывать, пока не вернулась к ним способность шевелиться.

- Берись! - приказал Виктор. - Ком!

Немец взялся за ремень, и они потащили. Снег лежал сырой, рыхлый. Волокуша проваливалась, тащить было тяжело. Глоток шнапса согрел, разогнал кровь, но в животе по-прежнему резало от голода. Чувство сытости, временно наступившее после глотка спиртного, прошло, и есть захотелось пуще прежнего, но в кармане лежала только одна, последняя галета, которую Виктор берег для Генки.

Солнце в разрыве хмари осветило снег, но он не заискрился, не засиял, а матово налился молочным светом, набряк влагой, и идти стало еще труднее. Вместо зелени и удивительных полярных цветов, что буйно цвели вчера под арктическим солнцем, теперь

была сплошная белая скатерть, кое-где расшитая торчащими из-под снега головками красных северных маков.

Немец что-то сказал, показывая рукой в сторону. Виктор пригляделся. Серый зверек хищно подкрадывался к чему-то. Виктор не сразу узнал песца, наполовину сбросившего роскошный зимний наряд. "Куда он крадется?" - и тут же увидел, что из-под снега торчит птичья голова на длинной шее. Он сорвал автомат с груди и торопливо прицелился. От пуль фонтанчиками взвихрился снег, песец сделал виртуозный прыжок в сторону и, проваливаясь в мокром снегу, улепетывал во все лопатки прочь.

Тяжело хлопая крыльями, на бреющем полете улетала и гусыня. Виктор выпустил очередь вдогонку, но промазал.

Немец вдруг кинулся в другую сторону, и у Виктора мелькнула мысль: "Сбежит!" - но тут же он понял, что немец бросился на второе гнездо. Оттуда с шумом и гоготаньем поднялась гусыня и стелющимся полетом тоже уходила все дальше и дальше, а Виктор, вскинув автомат, не мог стрелять: ему мешал немец.

- Да уйди ты к черту! Ложись! - заорал Виктор и, когда немец догадался и упал в снег, выпустил длинную очередь, но было уже поздно.

- Гад паршивый! - со слезами в голосе ругался Виктор. - Из-за тебя все, фашист проклятый!

Он подошел к гнезду, в котором лежало четыре еще теплых яйца, взял их в руки. Но яйца были насижены.

- Видишь! - чуть не плача, Виктор тыкал яйца немцу под нос. - На, жри! Фрессен!

Немец что-то извинительно лопотал.

- У-у!.. - бессильно мычал Виктор, чувствуя, что от голода еще невыносимее, еще ожесточеннее зарезало в животе.

Генка лежал закрыв глаза.

- Ген, как ты? - Виктор присел возле него.

Генкины веки медленно поднялись, но взгляд был пуст и отрешен. Остановившимися глазами Генка смотрел куда-то внутрь себя. Лицо его было страшно своей неподвижностью.

- Ген, Ген! - затряс друга за плечо Виктор.

Мутным, ускользящим взглядом Генка смотрел куда-то мимо. Сквозь сильную бледность явственно проступала синева возле губ и носа. И эта синева особенно пугала: Виктор где-то слышал, что так бывает у умирающих.

- Ты потерпи, Ген, потерпи. Немного осталось, - погладил Виктор друга по холодной щеке. С трудом, чувствуя боль в ногах, поднялся, зло сказал: - Ком!

Снег переливался на солнце, и это напомнило тот далекий ясный день, когда Виктор с отцом ездили на зайцев. В кошевке под собачьим тулупом ему было тепло и весело. Он вертел головой, оглядывая искрящуюся на солнце равнину, видел вдали бледно-голубые горы, и сердце замирало от счастья. Бодро пофыркивала лошадь и легко несла кошевку. Морозный воздух приятно охлаждал щеки.

Отец тогда убил двух русаков. Мать потушила одного с картошкой.

Десны обволокла голодная окись. Приказал себе не думать о еде. "Считай шаги! А об ЭТОМ не думай. Раз, два, три... Считай, а об ЭТОМ не думай". Русак был огромный и картошка румяная. "Не думай, слюнтяй! Думай о другом. Об ЭТОМ нельзя, нельзя!" И все равно продолжал думать.

К вечеру снег растаял. Шли теперь местом, где молчаливая тундра пугала своей безжизненностью и пустотой.

Болотистая, покрытая жесткой пушицей земля простиралась, докуда хватало глаз. Стылое, рябое от мелких льдин море лежало затаенно и враждебно. Хмурое небо давило на плечи. Проклятое место! Сгинешь - никто не узнает.

Генке было совсем плохо. Он глухо стонал, не открывая глаз. "Неужели... - думал Виктор со страхом. - Нет, нет, дотянем, а там помогут". И налегал на гужи, подгонял хриплым криком немца.

Чтобы не тащить лишний груз, Виктор запрятал в камнях винтовки и поставил плоский камень для приметы, но идти становилось все тяжелее. Они все чаще и чаще отдыхали, и Виктор тревожно глядел на друга. Генка время от времени открывал глаза и пытался улыбнуться, но на осунувшемся, с провалившимися щеками лице появлялась лишь гримаса боли. У него началась гангрена.

Стиснув зубы от бессилия помочь другу, холодея от страха перед надвигающейся катастрофой, Виктор снова вставал и впрягался в волокушу.

- Помнишь колхоз, - сказал шепотом Генка на одном из привалов. Лето теплое было. Ласточки летали.

- Помню, - отозвался Виктор и обрадовался, что Генка заговорил.

И Виктор вздохнул стал вспоминать, как всем классом ходили в колхоз на уборку, как косили, возили сено, как пололи свеклу и копали картошку. Он говорил и говорил, стараясь сделать другу приятное, отвлечь его от боли, стараясь убедить себя, что никакой гангрены нет и не будет, что все это страхи, Генка выдюжит и вот-вот покажется метеостанция.

- В цирк ходили, - еле слышно сказала Генка пересохшими от внутреннего жара губами.

- Ира была... - Генка бессильно опустил веки. Ты передай ей...

- Что ты, что ты! - У Виктора перехватило горло. - Ты это брось. Завтра дойдем.

Генка открыл глаза, посмотрел отрешенно, и Виктор понял - не надо врать. Не дойдут они ни завтра, ни послезавтра. И все это Генка знает.

- Ком! - прохрипел Виктор сквозь зубы и, собирая последние силы, снова потащил Генку на восток.

...Они тогда вчетвером ходили в цирк. Цвела черемуха, и городок был залит горьковато-сладким запахом, от него кружилась голова. А может быть, она кружилась оттого, что рядом сидела Вера, и он, Виктор, чувствовал ее острый и прохладный локоток. Он даже плохо видел, что происходит на манеже.

Из цирка возвращались поздно. Когда Виктор довел Веру до дома, то увидел, что на лавочке перед палисадником, заросшим сиренью, сидит Верина мать. Она молча встала и ушла. Вера заторопилась, зашептала: "Ой, я пошла! До свидания!" Сунула ему прохладную ладонь и исчезла. А Виктор пошел на мост, ощущая рукой прикосновение Веры, и сердце его учащенно билось.

Виктор стоял на мосту через Бию и ждал Генку. Старый мост поскрипывал, вздыхал, как живой, под сильным и стремительным напором реки. Виктор смотрел вниз на воронки возле деревянных быков, на волны, и ему казалось, что не река, а мост движется куда-то и что он, Виктор, стоит на капитанском мостике и ведет корабль в неизвестную прекрасную даль, в расплывчатую мглистую синь ночи, в которой терялись очертания берегов. Ярко светила луна, и переливающаяся серебряная дорожка все бежала и бежала по воде.

Виктор услышал условный свист. "Проводил?" - спросил он. "Проводил", - смущенно ответил Генка и стал, как маленький, царапать ногтем перила моста. Он впервые в тот вечер проводил Иру. "Она тебе нравится?" - спросил Виктор, хотя отлично знал, что Генка давно вздыхает по этой бойкой, в светлых кудряшках девчонке, но ему почему-то хотелось вогнать Генку в краску. Генка покряхтел и сдавленным от волнения голосом ответил: "Волосы у нее красивые". - "Волосы?" - удивился Виктор. Вот уж никогда не думал, что у Ирки красивые волосы. Просто лохматые - это другое дело. "Ты любишь ее?" - "Разве можно так говорить о любви", - тихо ответил Генка, и Виктору стало стыдно. "Видишь, какой я", - опять тихо сказал Генка. Виктор видел, Генка - нескладный, длинный, с впалой грудью. "Вопросительный знак" звали его в школе и всегда потешались на уроках физкультуры, когда надо было подтягиваться на турнике. Генка извивался, краснел от напряжения, дрыгал ногами, но подтянуться на руках, чтобы подбородком коснуться перекладины, так и не мог. А когда бегал стометровку, то размахивал своими длинными мотылями так, что долго не мог остановиться после финишной ленточки.

Друзья долго стояли тогда на мосту, смотрели в синюю даль ночи и думали о своих девчонках. Стояли, пока не озябли.

* * *

В раннюю хмарь шестых суток Виктор очнулся от выстрела. Сел и никак не мог стряхнуть одуряющую тяжесть сна. Не понимал: не то причудилось, не то и впрямь был выстрел? В глазах стоял туман.

Когда зыбкая пелена спала с глаз, Виктор увидел, как, привалившись спиной к валуну и неловко запрокинув голову, безжизненно сползает вниз Генка. Немец, приподнявшись на колени, с ужасом выкатил глаза.

- Что? - в предчувствии беды у Виктора упало сердце.

Немец быстро-быстро заговорил, глядя то на Виктора, то на Генку.

- Что? Кто? - западающим шепотом выдохнул Виктор, до сознания которого все еще никак не мог прийти смысл случившегося. Но, уже чувствуя непоправимо надвинувшееся несчастье, Виктор вскочил и кинулся к другу. На коленях Генки лежал автомат.

- Генка! Генка! - затряс его Виктор.

Генкина голова мертво перекадилась с одного плеча на другое. Виктор в ужасе отшатнулся. Разрывая голосовые связки, дико закричал:

- Зачем? Зачем?

Натолкнулся взглядом на немца и, задохнувшись слепящей яростью, схватил с мертвых коленей Генки автомат и выпустил очередь в немца. Тот, вскрикнув, надломился и стал медленно оседать. А Виктор со сладким чувством расплаты остервенело жал и жал на спусковой крючок автомата, бил и бил немцу в живот, в грудь, в рот, в печенку!..

Когда автомат смолк, Виктор отрезвел. Тупо глядел на стоявшего перед ним невредимого немца.

Виктор действительно выпустил весь магазин по немцу, но в последний миг подсознательно отвел ствол, и очередь прошла мимо. Остальное возникло в горячечном бреду: и оседающий, перерезанный автоматной очередью немец, и его предсмертный крик.

Опаленного в упор немца колотила крупная дрожь. Спекшиеся черные губы хватили воздух, глаза налились мутью страха. Язык у него отнялся, он мычал что-то умоляющее и страстное.

Поняв, что немца не убил и не может убить, не имеет права, Виктор ударил его в скулу со всей откуда-то взявшейся силой. Немец качнулся, покорно выдержал удар.

- Из-за тебя, из-за тебя, гадина проклятая! - рыдающим голосом закричал Виктор. - Кто ты такой? Зачем пришел сюда? Сидел бы на своем Рейне! Капут тебе здесь, капут! Ферштеен? Капут!

Накричавшись, он почувствовал смертельную усталость, опустошенность и затрясся в сухом, исступленном рыдании обезумевшего от горя человека...

Виктор опустился на колени перед Генкой, сложил на груди друга его потяжелевшие руки и долго смотрел в мертвое лицо.

Он был в странном состоянии полуяви-полубреда, как будто это был и не он, Виктор, а кто-то другой, нереальный; будто все это кошмарный сон, и вот-вот он пробудится, с облегчением сбросит с себя этот ужас и снова увидит живого Генку, и посмеются они вместе над бредовыми галлюцинациями Виктора.

Впервые в жизни он не устрасился мертвого. Не было страха и перед дальнейшей судьбой, только тщетное старание что-то запомнить, обязательно запомнить, а почему обязательно и что именно запомнить, так до конца и не мог уяснить.

С остановившимися, незрячими глазами Виктор рыл финкой могилу. Он рыл, а вода набиралась в мелком углублении, и он ударял финкой под водой, резал корни, жесткие, как проволока, выгребал потерявшими чувствительность распухшими пальцами мокрые комья земли. И все это делал, как во сне, ничему не удивляясь, ни о чем не думая, ничего не желая.

Ему помогал немец молча и старательно.

Они часто отдыхали, лежа возле ямы.

Вырыв могилу, Виктор постоял на коленях перед Генкой, еще на что-то надеясь, еще сопротивляясь сознанию, что Генки нет и не будет больше. Он смотрел на мертвенно-белое, с заострившимися чертами, будто вырезанное из куска светлой жести, лицо друга, на

бескровные, застывшие в скорбной складке губы, на восковой нос и вдруг заметил у Генки усы. Белесый пушок, который носил Генка на верхней губе, стал жестким и чуть рыжеватым, и теперь на мертвом лице явственно выделялись усы.

С мучительной нежностью Виктор поправил светлый Генкин чуб, провел рукой по щекам и содрогнулся, ощутив стылость тела, идущую откуда-то изнутри Генки. И тут только осознал до конца, что Генка ушел совсем, и задохнулся от боли и отчаяния, и застонал, обхватив голову руками...

Они положили Генку в яму, Виктор накрыл ему лицо бескозыркой. Засыпали сначала мхом, потом сырыми комьями торфяника. Могильный холмик обложили дерном и завалили камнями, чтобы до трупа не добрались песцы.

Виктор вставил последний магазин в автомат, немец настороженно замер. Виктор поднял оружие, и сухая очередь распоролла застоявшуюся тишину и тягостным эхом ударила в сердце.

Отдав последнюю воинскую честь другу, Виктор нарвал ярких маков и положил букет сверху. Долго неподвижно сидел у могилы.

Еще недавно они вместе служили на посту, и Генка жил, смеялся... Еще утром он был рядом, а теперь вот его нет. Совсем нет. И не будет НИКОГДА.

НИКОГДА Генка не будет рассказывать о мушкетерах и капитане Немо эти две книги он обожал и мог почти наизусть пересказывать целые главы. НИКОГДА не будет рисовать, сидеть часами и смотреть на закат. НИКОГДА после отбоя Генка не подsunется поближе и не скажет шепотом: "Домой так хочется! Помнишь, какие шанежки мама пекла?"

Виктор вспомнил мать и отца своего друга, подумал, как он теперь напишет им? Что скажет, когда вернется домой?

Тогда, на вокзале, Наталья Николаевна все просила Виктора приглядывать за сыном, а отец его, почему-то считая Виктора опычнее и рассудительнее, тоже наказывал, кивая на Генку: "Ты его из поля зрения не выпускай, а то у него одно художество в голове".

Генка смущался, слыша такие разговоры, недовольно сопел, сутулился и глядел на привокзальную площадь. Виктор знал, что он ждет Иру. Но она так и не пришла тогда, и только потом, уже на Севере, узнали они, что ее не пустила мать. Так и не простилась она с Генкой.

А теперь вот...

Виктор застонал от горя. Поднял глаза от могильного холмика и вновь увидел бескрайнюю тундру, топкий низкий берег, который сливался с холодным морем.

Неподалеку, на камне, устало сидел немец.

"Что же делать?" - тоскливо задавал себе вопрос Виктор и не находил ответа. Каменная тяжесть давила плечи, тягучей болью ныло сердце.

Что он теперь скажет Генкиной матери, доброй тихой Наталье Николаевне, великой мастерице печь шанежки, которыми всегда угощала ребят?

Тогда, на вокзале, она стояла рядышком с матерью Виктора, и они очень походили друг на друга: обе маленькие, обе сухонькие, с проблесками седины на висках. Они все наказывали им тогда, чтобы берегли себя, чтобы не простудились и чтобы не стащили у них в пути продукты, одежду, деньги.

Виктор и Генка нехотя выслушивали советы, отвечали, что, мол, они не маленькие уже и ничего с ними не случится.

Над городком занимался рассвет, и река, пересекающая городок, холодно поблескивала в разрывах тумана, шумели высокие тополя над головой, каменное, выбеленное известью старинное здание вокзала было сурово-торжественным, люди на перроне хранили горестное молчание и ненасытно глядели друг на друга прощальными глазами.

Потом, когда поезд тронулся и когда призывники теснились у окон и в тамбуре, вся толпа провожающих - отцов, матерей, сестер и младших братьев - двинулась вслед за вагоном, что-то крича и махая руками, Генка громко засопел и подозрительно спрятал от Виктора глаза.

Поезд уже покинул последние домишки на окраине городка, а они все еще торчали у окна и глядели на быструю Бию, уже освобожденную от тумана.

Три островка посредине ее курчавились кустарниками и походили на остроносые корабли, пересекающие воду.

- Помнишь? - спросил тогда Генка и грустно улыбнулся.

Виктор помнил, как мальчишкой поплыли они на эти островки за облепихой. Росло ее там видимо-невидимо.

Вдвоем, сидя на веслах и работая изо всех сил, они с трудом преодолели быстрое течение реки и высадились на мысу среднего островка. Подтянули на галечник лодку, охладили в воде натертые до волдырей ладошки, посидели, отдышались и подались в гущу кустарника за ягодой.

Они наломали веток с желтой терпко-кислой ягодой, будто крупными брызгами сплошь облепившей кору, и долго обирали ее в ведра.

Когда оба ведра были полны, они решили вернуться к лодке, где лежали шанежки, которыми их снабдила Наталья Николаевна.

Друзья продрались сквозь заросли, вышли на плоский мыс, усеянный галечником, и оторопели: лодки на берегу не было.

Беспомощно и растерянно озираясь, они увидели ее вдалеке. Лодку крутило и несло течением прочь от острова.

- Теперь мы будем как Робинзоны, - беспечно усмехнулся Генка. Будем загорать, пока нас не снимут. Давай обследуем остров, может, тут где-нибудь Пятница живет.

Генка тогда был беззаботно-весел. В общем-то, и действительно бояться было нечего: городок был виден, к вечеру должен был пройти мимо острова рейсовый пароходик, и бакенщик тоже к ночи поплывет зажигать огни на реке, так что кто-нибудь да снимет их. В этом они были уверены.

Полдня они лазали по острову, воображая себя Робинзонами и прикидывая, где ставить хижину, откуда высадутся людоеды и как они будут от них защищаться.

Друзья наткнулись на черемуху и, забравшись на дерево, уплетали за обе щеки сладкую черную ягоду. Наелись до того, что во рту все связало, а зубы и язык стали сине-черными, будто они пили чернила.

Потом купались, загорали, и день пролетел незаметно.

К вечеру они почувствовали голод, неплохо было бы умять те самые шанежки, которые уплыли вместе с лодкой. Они сидели на мысе, боясь проворонить рейсовый пароходик.

Уже на закате он показался из-за мыса, маленький, беленький, старенький. Друзья замахали, закричали. Но на пароходике их не поняли. Им с палубы ответно помахали пассажиры, и пароходик протащило течением мимо.

- Бестолковые, - досадливо сказал тогда Генка. - Так тут просидишь, пожалуй.

- Ничего, бакенщик снимет, - уверил Виктор.

Но бакенщика друзья прохлопали: он проплыл другой стороной острова.

Опустилась мгла на реку, потянуло знобкой свежестью. Друзьям стало не по себе. Они почувствовали одиночество и тревогу.

Сидели на берегу, прижавшись друг к другу, и дрожали от озноба и нервного напряжения.

В темноте с тихим шорохом неслась река, и казалось, остров проваливается куда-то в неизвестную и жуткую мглу. За спиной в кустах что-то шевелилось, потрескивало, и от этого по коже бежали мурашки.

- Волков тут нету? - шепотом спросил Генка.

- Нету, - хриплым от страха голосом ответил Виктор, а сам подумал: кто их знает, может, и есть. Почему бы им не переплыть реку, лоси вон переплывают.

Виктор сам видел однажды, как вышел из тайги огромный красавец лось и переплыл реку, только голова с ветвистыми рогами торчала над водой, и было похоже, будто куст несет половодьем.

- Чего им тут делать? - с надеждой в голосе опять сказал Генка.

- Кому? - не понял Виктор.

- Да волкам.

Среди ночи разыгралась гроза.

Раскаленные до белизны молнии длинно ударяли в реку, освещая стремительно несущиеся черные воды. Ветер безжалостно заламывал кустарник, стараясь вырвать его с корнем. Друзья еще теснен прижались друг к другу, и негде было спрятаться, нечем было укрыться.

Сухая гроза пронеслась, и обрушился ливень. Хлестало как из ведра. Ребята были мокры до нитки, и зуб на зуб не попадал.

Наконец все утихло, и стало светать. Из холодного серого тумана, как привидения, выплыли две лодки. На одной из них был Генкин отец...

Как смешны теперь все их тогдашние страхи. Они тогда и подумать не могли, что ждет их впереди, здесь, на Севере...

День кончался.

На западе сквозь пепельно-багровую мглу тускло сочился свет холодного косматого солнца. Море, прижатое низким небом, было плоско и враждебно.

Виктора снова охватило ощущение нереальности. Вроде бы это и не он здесь в тундре, а кто-то другой, а он только наблюдает за ним, даже не наблюдает, а просто смотрит в кино. Ибо как же так? Была жизнь: дом, школа, служба, друзья - и вдруг ничего! Только немец да он.

Почему он здесь, в тундре, с фашистом перед могилой Генки? Нет, это не может быть действительностью, это кошмарный сон. Он сейчас проснется. В детстве у него были такие сны, он кричал от ужаса, просыпался в холодном поту, подходила мать и ласково успокаивала, и он опять засыпал счастливым и спокойным.

Но сейчас кошмарный сон не проходил. Это была реальность. Это была правда. Это была его жизнь, пусть не настоящая (настоящая осталась там: дома, в школе, на посту), пусть временная, но жизнь. И он должен был жить ею.

Виктор припал одеревеневшими губами к фляжке, чтобы забыться, чтобы не так больно давило сердце, не так трудно дышалось, не так каменно грузили плечи. Отпил и увидел, как немец судорожно гоняет кадык на тощей шее. Сделав еще обжигающий глоток. Виктор оторвал губы от фляжки, закружилась голова. "Пусть подохнет, не дам ни капли".

- Не дам! Ферштеен? Гадина фашистская! Не дам! - закричал Виктор и... протянул фляжку немцу. Из горла, откуда-то из самого сердца, вместо рыданий рвался хриплый стон, будто выливалось из переполненной груди все отчаяние, вся боль и безнадежность.

Немец испуганно молчал.

Жгучая влага оглушила Виктора, все поплыло кругом и потеряло устойчивость. Виктор еще силился разлепить глаза, но его закачало на волнах, накрыло спасительным пологом сна, и он полетел куда-то в невесомую темноту.

* * *

Проснулся Виктор как от толчка. Проснулся с ощущением нависшей беды. И сразу же увидел автомат в руках немца.

- Дай! - невольно протянул руку Виктор.

Немец отступил на шаг, и гримаса наподобие торжествующей улыбки проскользнула по его черным лопнувшим губам. Иссеченное полярным ветром лицо каменно заострилось в сознании силы и власти.

Опаленный острым приступом страха, не отводя взгляда от мстительно прищуренных глаз немца, Виктор вскочил. Немец отступил на шаг и предостерегающе поднял автомат. Странно окрепшим голосом сказал что-то. Виктор не понял. Немец повторил, в голосе послышалось раздражение. Показал на финку. Виктор вытащил из ножен финку. Мелькнула мысль броситься на врага, но тот понял это, и что-то крикнул зло и предостерегающе, и поднял автомат на уровень груди. Лицо его затвердело, глаза заострились, и палец на спусковом крючке не дрожал.

Виктор бросил финку. Немец поднял ее. Снова сказал что-то, показывая на бушлат. На лице его проступило нетерпеливое выражение. У Виктора, как в затычном прыжке,

похолодело сердце. Он решил, что его раздевают перед расстрелом. Непослушными руками снял бушлат и бросил немцу под ноги.

Настороженным взглядом враг наблюдал за Виктором, и вдруг в горле его что-то забулькало, заперекатывалось. Он хохотал хрипло, незнакомо и от этого страшно, будто лаял. Поднял бушлат и кинул его обратно.

Немец похлопал себя по карманам, пожевал, будто ел, Виктор сообразил наконец, что ему надо. Он вывернул карманы штанов и отдал последнюю Генкину галету. Немец показал на фляжку. Виктор отстегнул ее от пояса и тоже бросил.

Немец впился зубами в галету и стал жадно, со стоном грызть. Виктор не мог оторвать взгляда от быстро пожираемой галеты, голодная спазма перехватила горло, во рту собралась горькая слюна.

Немец поперхнулся и долго, надсадно кашлял, до синевы наливаясь кровью. Вены на висках вздулись, по ввалившимся, обросшим черной щетиной щекам текли слезы. Он отпил глоток шнапса, отдышался.

Его мутный взгляд наткнулся на Виктора, и в глазах мелькнула какая-то осознанная мысль, взгляд отвердел. И под этим взглядом Виктор весь напрягся, закричал каждой клеткой своего существа, ибо понял, что вот сейчас враг поднимет автомат - и очередь ударит ему в грудь. А в голове бешено работала мысль: "Надо броситься на него, надо вырвать оружие!" Но заставить себя сделать это не мог, и стоял как парализованный и ждал. Немец медлил и все смотрел и смотрел на Виктора, не поднимая оружия. И вдруг что-то дрогнуло в его взгляде, сломалось, он потоптался на месте и, не сказав ни слова, повернулся и пошел на запад.

Виктор понял: немец бросил его. Просто бросил - и все. Зачем тратить пулю, когда Виктору все равно не выйти из этой мертвой тундры.

Пройдя несколько шагов, немец вдруг остановился, повернулся и молча кинул Виктору финку. И пошел решительной походкой человека, знающего свою цель.

Виктор смотрел ему в спину и понимал, что с ним уходит что-то нужное ему, живое. Хотя это был немец, враг, но это был невольный спутник, напади на них какой-нибудь зверь, они защищались бы вместе. А теперь Виктор остался один, совсем один в этой глухой, враждебной, бесконечной тундре...

Когда Виктор рвался на фронт, он был твердо уверен, что пуля его не возьмет. Виктор знал, что есть смерть, особенно частая на фронте, но она была не для него, он умереть не мог. Он понимал, что все люди смертны, но это опять-таки его не касалось. Смертны другие, а не он. Виктор понимал, что и он не бессмертен, ибо таких людей нет, но умереть все равно не мог, не мог - и все тут.

Теперь он видел смерть друга, теперь он знал, что такое смерть. Он оставался один в тундре, измученный, голодный, на пределе человеческих сил. И никто не увидит, как он умрет. Просто-напросто умрет от истощения на этой недоброй холодной земле...

Он сидел и тупо смотрел под ноги, как вдруг гортанный крик резко подсек тишину. Виктор вздрогнул, поднял голову и увидел, что вдалеке стоит немец и призывно машет рукой. "Чего он?" - подумал Виктор, и тотчас пришла смутная догадка, что немец тоже не может обойтись без него, без Виктора, в этой проклятой тундре.

Немец кричал и махал рукой, а Виктор сидел, и чем дольше сидел, тем яснее понимал, что именно сейчас он победит.

Немец вернулся, ткнул автоматом Виктора в грудь и показал на запад:

- Ауф! Ком!

- Не туда показываешь, дурак, - беззлобно сказал Виктор. - Не на запад, а на восток. Нах остен? Ферштеен?

Виктор показал рукой на восток.

Немец понял, потоптался на месте, закричал что-то. Вскинул автомат на Виктора, но тут же опустил и в отчаянии завыл.

Виктор молча смотрел на него. Потом он поднялся и взял из рук немца автомат. Немец покорно отдал. Виктор кивнул на восток:

- Ком!

И пошел вперед. Немец послушно двинулся за ним.

* * *

...Будто вчера купались они с Генкой в ночном озере. Одноклассники спали на полевом стане после работы, а Генка уговорил Виктора идти купаться. Он всегда что-нибудь да придумывал.

Виктор и Генка плавали, боясь опустить ноги в тусклую, таинственно мерцающую глубину. Казалось, вот-вот схватит кто-то снизу. Почувствовав скользкое прикосновение водорослей, неистово колотили ногами, ухали и нервно похохатывали. Было жутковато, и холодок теснил сердце.

Накупались до звона в ушах. Блаженно отфыркиваясь, вылезли на пологий травянистый берег. Генка долго прыгал на одной ноге, не попадая другой в штанину, и смеялся. До свежей копны бежали наперегонки, чтобы унять озноб после купания. С размаху бросились в сено. Из копны со стрекотом шарахнулись кузнечики, запрыгали по траве, улепетывая подальше.

Друзья лежали, вольно раскинув руки. Пахло медом и томительно-сладким настоем увядающих трав. Со стороны наносило смородиновым листом и сырьем озера.

На ближнем кусте боярки взблескивала паутина, будто сотканная из тончайшего хрустала. Слышался тихий перезвон: не то родник бормотал где спросонья, не то падали в чуткую воду капли росы, не то паутина вызванивала под слабым ветерком, а может, сам воздух звенел, наполненный серебристо-голубым свечением.

- Красота-то какая! - тихо сказал Генка. - Вот бы такую ночь нарисовать!

Накаленная до ослепительной голубизны луна заливала ликующим светом поля, лес, озеро. Обрызганные росой, посверкивали, вспыхивали, голубовато серебрились камыши.

Генка приподнялся на локтях, широко раскрытые глаза его мерцали отраженным лунным светом, восторженно и счастливо смотрел он на луга, уходящие в ночную неясность.

- Пойти бы по земле, далеко-далеко, - мечтательно сказал он. - Вот бы нагледелся!

- Война идет, - сказал Виктор.

- Война, - как эхо отозвался Генка и с недоумением взглянул на Виктора. - Зачем она, война?

Этот же вопрос он задал и на маленькой уральской станции, название которой Виктор не запомнил.

Их эшелон июльским днем остановился рядом с санитарным поездом. Из всех вагонов выносили раненых.

Угрюмые санитары в мятых халатах и молчаливые сосредоточенные девушки в зеленых пилотках и тоже в халатах, только уже почище и поаккуратнее, бережно передавали носилки с ранеными из тамбуров на перрон.

Дощатый пыльный перрон перед зданием вокзала был весь уставлен рядами носилок, на которых под серыми тонкими одеялами лежали перебинтованные, как мумии, раненые.

Парни, ехавшие на Север в эшелоне Виктора, притихли и молча смотрели, как на перроне все увеличивается и увеличивается число покалеченных солдат. Этот санитарный поезд был с тяжелоранеными. Они трудно, прерывисто дышали, с запекшихся губ слетал стон, черные впадины глаз и заострившиеся носы говорили о мучениях солдат.

На вокзале стояла тяжелая тишина. Пахло медикаментами, кровью и хлоркой.

За решеткой, отделяющей перрон от привокзальной площади, накапливалась толпа молчаливых женщин, с тревогой и состраданием наблюдавших за выгрузкой тех, кого привезли с фронта.

Виктора и Генку тогда послали за кипятком, и им пришлось осторожно пробираться между носилками.

Был солнечный безмятежный день с синим ярким небом, с зелеными веселыми горами, но было жутко от тишины, которая придавила вокзал. Даже бойкий маневровый паровозик, до этого весело посвистывавший, притих и старался проехать мимо перрона как можно осторожнее.

Виктор и Генка прошли возле носилок, на которых лежал молоденький солдатик. Рядом с ним стоял дежурный по станции в красной форменной и уже выцветшей фуражке, с железом в руке и со слезами на глазах. Седой мужчина растерянно и жалко улыбался и всем, кто его слышал, радостно сообщал:

- Племяш это мой, племяш. Мить, ты слышишь меня ай нет?

И голос его дрожал от радости и горя. А племянник, спеленатый бинтами, лежал недвижно с закрытыми глазами и не откликался на зов своего дяди. Известково-белое лицо было подернуто нехорошей синевой, бескровные губы были безвольно расслаблены.

Но не это ужаснуло Виктора и Генку тогда, а то, что солдатик был странно коротким. Серое тонкое одеяло ниже туловища пусто опадало на носилки. И дежурный по станции тоже со страхом и горем смотрел на этот плоский конец одеяла, и губы его вздрагивали.

Виктор и Генка набрали кипятку в большие казенные чайники, которыми они были снабжены в эшелоне, и возвращались обратно в свой вагон, когда услышали:

- Преставился, сердешный.

Это сказал пожилой усатый санитар. А железнодорожник, сняв фуражку, молча смотрел на своего племянника.

Виктор и Генка остановились, будто на стену налетели. Они были потрясены. Всего несколько минут назад этот раненый был еще жив, и вот...

Они смотрели на мертвого солдатика и теперь только поняли, что он совсем еще мальчишка.

- До дому хватило сил доехать, - подал голос пожилой санитар, - а чтоб мать повидать - уже нет. Вот она, война-погибель.

Железнодорожник наклонился, прикрыл веки племяннику и твердым шагом прошел к станционному колоколу, резко ударил в него, объявил отправление эшелона, в котором ехали друзья.

Виктор толкнул Генку, и они побежали к своей теплушке. Вскочили на ходу, ухватившись за протянутые руки товарищей.

Притихшие парни молча смотрели, как уплывает перрон, сплошь уставленный носилками с ранеными. Среди них сурово и прямо стоял седой дежурный по станции, а неподалеку от него лежал его мертвый племянник.

- Война, - сказал тогда Генка. - Зачем она, война?

* * *

Виктор вытряхнул из карманов отсыревшие крошки галет вперемешку с махорочной пылью и сглотнул это месиво, ощущая горечь и жжение в горле. Есть захотелось еще больше. Напротив сидел немец, бессильно прислонясь спиной к валуну, погасшими глазами смотрел под ноги, тяжело, со свистом дышал черным провалом рта. Виктор отчетливо понял: если завтра не дойдут до метеостанции, то конец.

Силы оставляли их. Немец часто падал. Один раз чуть не захлебнулся в луже. Виктор еле вытащил его.

- Их кан ниht, - хрипел немец.

- Я тебе дам "ниht"! - задыхаясь от усилий, поднимал немца на ноги Виктор. - Ты мне теперь дороже жизни, фашист проклятый! Не вздумай здесь подохнуть.

И с яростным напряжением тащил его вперед.

* * *

Угодили в болото. Хотели сократить путь, не стали огибать мыс берегом и теперь шли по зыбкой, оседающей под тяжестью тела земле, хлюпали в лужах коричневой воды, хрустели обнаженной изморозью вечной мерзлоты, запинаясь о пружинистые кочки. От этих гибельных мест тянуло тоской, и Виктор с тревогой всматривался: скоро ли они кончатся.

Но потом стало еще хуже. Все реже и реже попадались твердые места, все глубже и глубже стали коричневые лужи, пока не началась сплошная трясина, и они стали прыгать с кочки на кочку, с островка на островок. И уже показался конец болота, уже был виден берег, уже рукой до него было подать, когда в "окно" ухнул по пояс немец. Он шел позади Виктора и сорвался.

Закричал. Виктор резко обернулся, не удержал равновесия на шаткой кочке и тоже сорвался в коричневую ледяную жижу.

Сразу обожгла студеной водой, налилась в сапоги, и ноги занемели, все намокло и тяжело потянуло вниз, будто привесили к ногам гири.

Виктор отчаянно забился на месте, поднимая брызги, хватаясь за колючие кочки, но они уходили под воду, едва он наваливался на них. И какая-то чугунная тяжесть гнула шею, не давала выпрямиться. Не сразу он сообразил, что мертвый груз на шее - автомат. Чувствуя, как все глубже и глубже погружается в зыбкую топь, Виктор рывком скинул автомат с шеи, и бросил его на две кочки как перекладину, и, навалившись на него животом, еле вытащил ноги из засасывающей трясины. Неловко подвернув ногу и чувствуя боль в боку от автомата, он лежал без сил, со стоном всасывая воздух.

Рядом испуганно вскрикнул немец.

Едва переведя дух, Виктор протянул ему автомат.

- Хватай!

Немец был в воде уже по грудь. Он придушенно мычал что-то. Обезумевшие глаза его на белом лице вылезли из орбит.

- Хватай, говорят тебе! - крикнул Виктор.

Немец схватился, Виктор потянул.

- Держись, - хрипел от натуги Виктор, стараясь вытянуть своего врага из трясины.

Казалось, лопаются жилы. Виктор чувствовал, если вот сейчас не вытащит немца, то у него уже больше не будет сил повторить это.

Немец дернул автомат, Виктор не удержался на кочках и упал в "окно" рядом с немцем. Автомат булькнул и ушел на дно.

Виктор и немец уцепились друг в друга и стали погружаться в студеную коричневую трясину.

Они глухо кричали, звали на помощь, ругались на двух языках.

Виктор совсем выбился из сил. Он захлебывался, когда почувствовал, как его подхватил немец. На какой-то миг они заглянули друг другу в глаза, обожглись безумием обоюдного страха и, напрягая остатки сил, подбились к берегу. Впиваясь бессильными пальцами в торфянистую землю, упираясь в нее подбородками, вдавливаясь лицом, вытащили свои тела на сушу. На четвереньках отползли от трясины и ткнулись лицом в голубые незабудки. В удушье хватали ртом воздух и не могли надышаться. Тяжким молотом ухало сердце. Долго лежали в черной качающейся пустоте, оглохшие от натужного стука крови в висках, полумертвые, равнодушные ко всему. А где-то настойчиво билась, не давая покоя, мысль: "Надо встать и идти. Надо встать". Но Виктор продолжал лежать, с протяжным хрипом, взахлеб всасывая воздух.

"Встать! - приказывал он себе и шевелил пальцами, но сил хватало только на это. - Встать! - с бессильной яростью повторял Виктор. Встать! Сволочь!.."

Он собрал остатки сил, напрягая волю, почти теряя сознание, заставил себя подняться. Стоял шатаясь, и земля ходила под ногами, как корабельная палуба в шторм.

Виктор поднял глаза. Жидко-голубая мгла горизонта и бесцветное пятно солнца были призрачны и нереальны.

- Врешь! - вслух сказал Виктор, трудно двигая одеревеневшими губами. Сквозь горячую тяжесть, прихлынувшую к ушам, не услышал собственного голоса. - Врешь, наша перетянет!

Он перевел взгляд на лежащего лицом вниз немца и, боясь наклониться, чтобы снова не упасть, ткнул его ногой в бок.

- Ауф!

Немец открыл глаза и долго смотрел не узнавая. Не сразу, откуда-то из глубины, издали, вернулось сознание, взгляд его стал осмысленным.

- Ком! - сипло выдавил Виктор. - Иначе капут.

Немец с огромным трудом встал. Держась друг за друга, пошли.

* * *

...Они тогда опоздали на обед. Дождь загнал их под огромную разлапистую ель, одиноко стоящую на поляне. По веткам хлестали струи, на иглах набухали дымчатые капли и срывались. А возле могучего ствола было сухо, лежал слой опавших иголок, пахло прелью, смолой, умытой хвоей, и было приятно чувствовать себя в безопасности. Они сидели рядышком, полные смущения и ожидания чего-то радостного, необычного, нечаянно касались плечами, и от этого сладко и смятенно замирало сердце.

Виктор отвел ветку, выглянул наружу. Сверху дружно посыпались капли, попали за шиворот, Вера ойкнула и округлила глаза. Виктор нарочно потряхнул еще раз.

- Что ты делаешь! - со счастливым испугом воскликнула Вера, а у него хмельно закружилась голова, и он засмеялся над испугом Веры и оттого, что рядом она, что кругом дождь, а они сухие, и что опаздывают на обед, и весь девятый класс сидит на полевом стане под навесом и ломает голову, куда они запропастились.

Отполоскал дождь внезапно, туча свалилась за увал, за темную гряду леса. Брызнуло солнце.

Первой из укрытия выскочила Вера. Сильно потряхнула ветку, обрушила на Виктора ушат воды и кинулась бежать. Виктор выскочил за ней и на миг замер, ослепленный солнцем, синевой неба и сверкающей, умытой дождем поляной.

А Вера убежала, смеясь и оглядываясь. Виктор припустил за ней, быстро догнал. Она поскользнулась на мокрой траве, Виктор схватил ее за руку, и дальше они бежали, держась за руки.

Потом они собирали ягоды. Счастливо-возбужденный Виктор самоотверженно ползал на коленях по мокрой траве, срывал веточки земляники и преподносил их Вере, а она, стоя на широком пне, царственным жестом брала их и смеялась затаенно и непонятно. И этот смех тревожил и смущал Виктора. Ему хотелось снять ее с пня и на руках понести на край света. И от такой мысли хмельно и радостно стучало сердце.

- Эге-ге-гей! Ве-ра-а-а! - вдруг заорал он.

И эхо отозвалось звучно и широко.

- Сумасшедший! - тихо сказала Вера и посмотрела на Виктора благодарными глазами.

В уголке рта она держала земляничную веточку с красными каплями-ягодками...

* * *

Тундра.

Марево.

Низко над горизонтом обескровленный глаз солнца. Могильная тишина. И ветер, и море, и небо - все умерло.

Хлюп, хлюп...

В тягостной тишине чавкают шаги.

Кто-то выбил из-под ног опору, холодное слепое солнце покачнулось, сделало зигзаг по небу и расплющилось от удара о землю.

Во рту соленая кровь, в глазах вспыхивают и крутятся красные круги. Они все множатся, множатся, разгораются яркими радужными пятнами, распадаются на оранжевые звезды и гаснут искрами в красной темноте. Голова полна тяжелого горячего гуда.

Хлюп, хлюп...

Идет он? Нет, руками возится в какой-то жиже. Надо встать, обязательно встать!

Виктор напрягся, стараясь оторвать свое очугуневшее тело от земли. Немец помог подняться.

И снова шаг, еще шаг...

Он уже не шел, а только переставлял ноги по зыбкой мшистой земле. "Поднять правую ногу и опустить, теперь левую поднять и опустить". Яростно подобрал губы, отсчитывал про себя: "Есть. Еще раз. Так, готово. Еще раз. Ага, вот так и делать, так делать. Стоп, где немец?"

Чтобы не закружилась голова, медленно оглянулся. Немец лежал лицом в землю.

Виктор вернулся за ним. Никогда не думал, что десять шагов - так далеко. Подошел, долго стоял, тупо раскачиваясь всем телом из стороны в сторону, копил силы. В глазах

темно. Усилием воли старался удержать ускользающее сознание. С единственной страшной мыслью не упасть поднял немца...

- Нет, я тебя доведу, доведу, - упрямо сипел Виктор. - Я тебя дотащу, все равно дотащу...

Впереди серая хмарь. Небо набухло кровавым цветом. Солнце - как запекшийся сгусток крови.

Идти, идти!

Хлюп, хлюп...

* * *

Состояние полуяви-полубреда не покидало Виктора. Он плохо соображал, сознание ускользало, в ушах стоял комариный звон.

А тундра все разворачивала и разворачивала свои бескрайние, затянутые зловеще-пепельным маревом просторы.

Осязаемой явью надвигалась гибель.

Перед воспаленным воображением Виктора проплывали обрывки далеких событий. То ему казалось, что он идет с классом в текущем мареве алтайской степи в колхоз на уборку, то бегут они с Верой навстречу ослепительному солнцу, то рядом натужно дышит Генка.

Все чаще серое небо валилось на него, и он падал в головокружительное ничто со сладостным чувством желанного отдыха и, услышав удар своего тела о землю, равнодушно ждал, когда силы возвратятся к нему.

Силы возвращались тягуче-мучительно. Истощенное, измученное тело еще жило, еще дышало, еще боролось. Воспользовавшись малой передышкой, оно собирало, копило силы.

Сначала возвращался слух, и Виктор, еще не видя, слышал рядом хрип и догадывался - это немец. Потом хватало сил открыть глаза, и перед лицом туманно маячила трава, сплетение стеблей, листьев, былинки, цветов. И тогда каким-то последним отголоском сознания он понимал, что нужно встать.

С огромным трудом он заставлял себя подняться и глядел в зыбкий, неустойчивый мир. Перед воспаленными, будто засыпанными песком, глазами земля простиралась шагов на двадцать, а дальше шло подернутое рыхлой накипью приплюснутое небо.

Тело тяжело гудело, дрожало на пределе сил, хотелось, безумно хотелось одного - упасть и те встать больше. Упасть и не встать.

- Врешь! - упрямо твердил Виктор. - Врешь!

И делал шаг, ловя подошвой уплывающую из-под ног землю.

* * *

Откуда-то из зыбкого далека пробилось до слуха тревожное мычание немца. Тревога передалась Виктору. Он подсознательно понял: случилось что-то необычное. Поднял глаза.

Немец показывал вперед.

Виктор пригляделся. Сквозь багровую пелену в глазах поймал взглядом ниточку мачты метеостанции. Она расплывалась, ускользала, готовая в любое мгновение исчезнуть, раствориться в серой туманной дымке. С облегчающим стоном Виктор расслабил волю.

Враз подкосились ноги, земля встала дыбом и ударила со всего размаха в лицо...